ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЮНОСТЬ

Глава первая

ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ

ТАНЯ

Раз-два! Сперва все ножи я воткнула в песок крест-накрест, и получилась прекрасная решетка, совсем как вокруг губернаторского садика на Расстанной. Потом стала по очереди вытаскивать их и снова втыкать – так было веселее работать. В общем, я даже любила чистить ножи, мне нравилось, когда они начинали блестеть. Вытирать посуду – это тоже было ничего, если бы Домна Ефимовна не сердилась, когда нужно было просить у хозяйки чистое полотенце. Сердилась она на хозяйку, а попадало-то мне! Мыть тарелки – это было хуже всего, потому что официанты ставили глубокие тарелки на мелкие селедочные, а селедку у нас жарили на постном масле, и такую посуду было очень трудно отмыть.

Сильный мороз стоял на дворе, и левая рука так замерзла, что даже хотелось постучать ею, как деревяшкой. Но все-таки я вычистила ножи, все до единого, только не стала натирать кирпичом. Трактир Алмазова был в городе, а мы с мамой жили за рекой, в посаде Замостье, и на том берегу начиналась дорожка, по которой ночами я боялась ходить. Черные тени косо пересекали ее, а над головой гулко стучали сухие, замерзшие ветки. Тихонько, чтобы не услышала Домна Ефимовна, я поставила под крыльцо ящик с песком и вернулась на кухню. Лучше было уйти незаметно, тем более что еще несколько грязных тарелок стояло на плите – эти были уже не от гостей, должно быть, сама хозяйка принесла их, пока я чистила ножи на дворе. Осторожно, чтобы не загреметь, я засунула тарелки подальше в стол – вымою утром. Но в эту минуту Домна Ефимовна вышла из своей каморки и закричала: «Ты что же это делаешь, дрянь этакая!» – хотя прекрасно видела, что я уже помыла лохань. Пришлось засучить рукава и снова приняться за работу.

Теперь я уже не думала о дорожке на том берегу, потому что все равно стемнело, городовые сменились, и газовый фонарь – единственный на всю Застенную – зажегся подле трактира. Теперь я беспокоилась, как бы мама не вздумала пойти мне навстречу, а она нездорова и утром, когда мы пили чай, все охала и жаловалась на сердце. Торопливо вымыла, вытерла я хозяйскую посуду, прибрала кухню и, обвязавшись крест-накрест платком, стала натягивать на себя старенькую жакетку. Но Домна Ефимовна снова вылезла из каморки – тощая, злющая, в очках, с седой крысиной косичкой.

– А керосин? Забыла?

Батюшки, да что ж это я? Керосин кончается, хозяйка велела сбегать к Бобриковым, а я забыла! Да не потеряла ли еще пятиалтынный? Нет, цел, слава богу.

– Сейчас сбегаю, Домна Ефимовна.

– Сбегаешь! Небось закрылись уже!

– Не беда, зайду с черного хода.

Вот когда действительно нужно было спешить! А что, если Бобриковы не отпустят с черного хода? Бутыль стояла в сенях, я схватила ее, опрометью выбежала на улицу – и в двух шагах от меня промчались покрытые богатой медвежьей полстью широкие сани.

– Дорогу!

Сани круто повернули за угол, но я успела заметить, что в них сидят какие-то люди в светлых шинелях – гимназисты или офицеры?

Бобриковы отпустили с черного хода, я отдала керосин Домне Ефимовне, побежала домой и, спускаясь с Ольгинского моста, снова увидела этих людей в светлых шинелях. Они раздвоились или у меня стало двоиться в глазах, но за первыми двумя поодаль шли еще двое. Потом они замедлили шаги и стали негромко разговаривать; до меня, к сожалению, не доносилось ни слова. Они стояли и разговаривали, как будто был не декабрь месяц, а май, когда молодежь из окрестных деревень приезжала погулять в посаде.

Это было действительно странно! Зачем они приехали сюда так поздно? Зачем свернули с набережной и пошли через поле? Что собираются делать в двух шагах от кожевенного завода, у которого теперь, во время войны, всегда стояла охрана? Почему двое отошли в сторону, а двое закурили и, постояв, стали крупно шагать по полю, точно собрались измерить его шагами? Снег был глубокий, они проваливались, но все-таки продолжали шагать. Почему двое оставшихся в стороне сняли шинели? Было очень холодно, но они как ни в чем не бывало бросили на снег шинели и медленно, как бы нехотя пошли навстречу друг другу…

Луна была ясная, и, когда они остановились в двадцати шагах друг от друга, я, как на экране, увидела их в гимназических куртках, с ремнями и светлыми бляхами, на которых, казалось, можно было даже различить большие буквы &quot;Л. Г. &quot; – Лопахинская гимназия.

В ту пору я все выбирала – у меня была такая привычка. Среди учениц прогимназии Кржевской, которых я видела лишь издалека в их белых передничках и коричневых платьях, я выбирала подруг. Я выбирала дома, в которых мне хотелось бы жить. Сейчас из двух гимназистов, стоявших друг против друга, я выбрала того, который стоял слева. Он был высокий, прямой, с откинутыми назад плечами. Фуражка у него была надета низко, и нос из-под козырька казался неестественно длинным. Он смотрел мрачно, пристально, исподлобья. Но все-таки я выбрала его, потому что второй был какой-то неприятный – полный с короткими ногами. Должно быть, ему было холодно, потому что время от времени он начинал трястись, торопливо дыша на дрожащие пальцы.

Мне тоже было холодно, и я бы охотно ушла – мама, должно быть, заждалась! Но это было невозможно, потому что я никак не могла понять, что они собираются делать.

И вдруг мне пришло в голову, что это дуэль.

Правда, я знала, что такое дуэль, и это хождение ночью в поле и разговоры были совершенно на нее не похожи. Я видела в кино, как настоящие мужчины дрались на настоящей дуэли. Они были красивые, в цилиндрах, и когда подоспела полиция, один был уже убит, а другой ранен.

Но и это была дуэль! Меня даже затрясло, так стало вдруг интересно. Очевидно, те, которые отмеривали шаги, уговаривали тех, которые стояли. Они доказывали что-то, убеждали – в чем и зачем? Но эти уговоры не привели ни к чему, потому что, совершенно одинаково махнув рукой, те, которые отмеривали таги, достали откуда-то два револьвера…

В эту минуту облако нашло на луну, снег перестал искриться, лужок потемнел. По-прежнему молча стояли друг против друга два гимназиста, но точно что-то новое, страшное вдруг отделило их от двух других, которые отошли теперь далеко, как бы отчаявшись что-либо изменить. Мрачно, из-под низко надвинутой фуражки смотрел на своего противника первый гимназист. Крепко прижавшись к плечу щекой, выставив вперед ногу, испуганно-злобно и как бы с отчаянием смотрел второй. Я хотела крикнуть им, что здесь нельзя стрелять – военный завод! Но было уже поздно. Полный гимназист поднял руку, выстрелил… И ничего не произошло, должно быть, промахнулся.

Теперь стал целиться другой, в надвинутой на лоб фуражке. Без сомнения, он нарочно целился так долго – то в лицо, то в живот. Наконец, сказав: «А, черт с тобой!» – он отвел руку и выстрелил в сторону. Он выстрелил в мою сторону, это я поняла еще прежде, чем услышала выстрел. Он выстрелил в меня и, кажется, попал, потому что я увидела небо – и вовсе не там, где оно было мгновение тому назад. Не там, над гимназистами, над полем, которое, переходя за Степановским лужком в косогор, поднималось к черной громаде завода, а высоко перед собой.

Только что мне было холодно, я не хотела, чтобы они стреляли, и волновалась. А теперь мне было не холодно, и я нисколько не волновалась. Я лежала и смотрела в небо. Я знала, что он попал в меня и убил и что сейчас все кончится навсегда.

Придя в себя, я прежде всего вспомнила эту минуту – когда почувствовала, что сейчас кончится не знаю что, но самое последнее в жизни. Я лежала, не открывая глаз, и думала. Было трудно вздохнуть, но все это происходило уже после той последней минуты. После! Я стала радостно, шумно дышать. И потом несколько раз возвращалась к этому счастливому «после».

Но где я? Что со мной? Что это за маленькая высокая комната с темным кругом на потолке? Какая-то таблица висела на стене, два одинаковых темно-красных комода стояли рядом, покрытые одной довольно грязной накидкой с кистями, – значит, я не в больнице? И не дома?

Я хотела привстать, оглядеться, но в эту минуту где-то очень близко за стеной раздались шаги и что-то тяжелое стало толкаться о стены. С медленно бьющимся сердцем я долго слушала эти удаляющиеся, тяжело переступающие шаги. Огромный зверь вроде мамонта, которого я видела в «Природоведении» у Лельки Алмазовой, представился мне, и я почти увидела, как он спускается с лестницы, упираясь в стены боками.

Шаги умолкли, и с другой стороны, за стеной, послышались скрип пера и долгое невнятное бормотанье. Я прислушивалась, переставала, снова прислушивалась – все скрипело да скрипело перо, кто-то грустно бормотал за стеной.

Но самое главное заключалось в том, что в этой комнате я была не одна.

Он был совсем другой, чем вчера, – я еще не знала, что меня чуть живую привезли в этот дом не вчера. Тогда под тенью козырька у него было острое, злое лицо. А сейчас – доброе и веселое, как у ангела на картинке, которую мадам Гутман, хозяйка писчебумажного магазина, бесплатно выдавала всем, кто покупал у нее больше чем на пятьдесят копеек.

Подложив под щеку ладонь, скорчившись так, что подбородок упирался в колени, он крепко спал в старом кожаном кресле у моего изголовья. Он спал, хотя было утро или день и яркое солнце смотрело в окно, освещая странные домики с многоэтажными крышами, изображенные на выгоревших обоях.

Мне было трудно дышать, какие-то твердые бинты с палками на груди мешали мне, я не могла даже подняться на локте. Но я все-таки поднялась. Я долго разглядывала его. Он неслышно дышал, и вокруг было так тихо, как будто дом был заколдован и все остановилось в этой солнечной, однообразной тишине, прерываемой лишь скрипом пера да сонным бормотаньем за стеной. К счастью, мамонт больше не спускался с лестницы, хотя теперь мне даже немного хотелось, чтобы он спустился еще раз.

Зато я сама куда-то спускалась, очень медленно – пак будто даже нарочно так медленно, чтобы не было страшно…

Когда я очнулась или проснулась снова, был уже вечер, потому что пагоды на стене – я потом узнала, что эти зданьица с многоэтажными крышами называются «пагоды», – были красными от заходящего солнца. Два голоса спорили надо мной, и прежде чем совсем открыть глаза, я несколько раз приоткрывала их и опять закрывала.

– Мало того, что ты чуть не утопил мальчика из прекрасной семьи, – сердито говорил женский голос, – теперь еще эта история, о которой говорит весь город! Имей в виду, что больше я не ударю пальцем о палец! Расхлебывай сам эту кашу. Тебя исключат…

Вот тут я в первый раз широко открыла глаза. Я увидела полную даму в пенсне, которая, гордо закинув голову, смотрела куда-то мимо меня. У нее была старомодная твердая прическа с валиком – таких уже давно никто не носил, и мне показалось, что все на ней такое же твердое, как эта прическа, – юбка до земли, шнурок от пенсне. Даже боа (она была почему-то в боа), которому по природе полагается быть мягким, тоже как-то твердо лежало на ее полных плечах. Давешний гимназист, улыбаясь, стоял у меня в изголовье.

– Мамочка, честное слово, не стоит так волноваться! В крайнем случае переведут куда-нибудь… И еще лучше! На пари – золотая медаль!

– Не переведут, а исключат.

– Однако Раевского не исключили.

– У Раевского отец – директор банка.

– Тем более! Неудобно же его оставить, а меня исключить.

Полная дама сняла пенсне, и я увидела, что ее близорукие глаза были полны слез.

– Да что говорить, – сказала она и безнадежно махнула рукой. – Никогда я не думала, сколько будет горя с тобой. И так бьешься как рыба об лед, только и думаешь, как бы вытянуть вас, а ты…

Она хотела уйти, но гимназист обнял ее, даже не обнял, а обхватил сверху, потому что оказалось, что она ему едва по плечо.

– Конечно, плохой, что же делать? – с нежностью сказал он. – Но ведь я же слово дал, вы об этом забыли? Если Таня поправится…

Я смотрела на него через щелки век, но, когда он сказал «Таня», поскорее снова закрыла глаза.

Они еще спорили, но я больше не слушала их. Мне стало так страшно, что я не поправлюсь, что я даже сжала колени и положила ладони на грудь. Нужно было сделать что-нибудь – встать или крикнуть.

– Мамочка!

Полная дама вздрогнула и бросилась ко мне.

– Очнулась? Таня, милая! Очнулась?

– Очнулась? – дрожащим голосом спросил гимназист.

Он выбежал, и из комнаты в комнату стало передаваться: «Очнулась, очнулась!» Сперва переспросил высокий мальчишеский голос, потом старческий – кажется, тот самый, который только что бормотал за стеной. Залаяла собака, захлопали двери, и старик в длинном сюртуке, в измятых штанах, засунутых в огромные боты, вошел и, опираясь на две палки, остановился в дверях.

Я снова закричала:

– Мамочка!

Все стало сдваиваться перед глазами, домики с многоэтажными крышами снялись со стен и рядами стали уходить от меня.

Полная дама взволнованно сказала кому-то: «Полотенце!» – и, называя мою мать по имени-отчеству – это поразило меня, – послала кого-то за ней. Страшный старик, тяжело опираясь на палки, подошел к моей постели и не сел, а свалился в кресло. Он взял меня за руку и стал прислушиваться, глядя прямо в мое лицо грустными глазами. И все на цыпочках вышли.

Возможно, что он поил меня с ложечки какой-то жидкостью, довольно приятной на вкус, которую непременно нужно было выпить – так он сказал, – чтобы пришла моя мама. Я послушалась, и правда – мама пришла, и я, как всегда, немного огорчилась, что у нее такие черные, провалившиеся глаза и такая морщинистая, худая шея.

Я сказала ей:

– Мама, возьми меня домой.

Она поцеловала меня и стала говорить, что теперь – скоро, а прежде нельзя было, доктор не велел. Я уснула, держа ее руку в своей.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ АНДРЕЙ

Мальчик лет тринадцати в гимназической серой рубашке неторопливо подошел ко мне, когда я очнулась. Он был чем-то похож на давешнего гимназиста, и я подумала, что они, наверное, братья. У того были веселые серые глаза, а у этого тоже серые, но тяжелые, с ленивым выражением.

– Тебе нужно что-нибудь? – спросил он. – Хочешь чаю?

Я покачала головой.

– Ничего не ела целый день, – медленно сказал мальчик. – Ну, хлеба с маслом? Съешь, пожалуйста, а то мне неприятно, что ты голодная.

Я сказала:

– Потом.

– Ладно. – Он подумал. – А теперь вот что: ты имей в виду…

Он смотрел прямо на меня – даже не смотрел, а разглядывал, – и так внимательно, что мне стало неловко.

– Ты имей в виду, что все это вранье.

– Что вранье?

– А вот что мать говорит, что она к тебе привязалась. Она твоей матери сказала, я слышал. Это невозможно хотя бы потому, что ты все время была без сознания. К тебе можно было так же привязаться, как к бревну. Она это утверждает, чтобы твоя мать не подняла шуму. То же самое и насчет прогимназии.

– Какой прогимназии?

– Когда ты поправишься, – задумчиво продолжал мальчик, – она обещала отдать тебя в прогимназию Кржевской.

– Меня? В прогимназию Кржевской? – Я открыла рот, чтобы не задохнуться от счастья, и поскорее положила руку на грудь. Я буду ходить в коричневом платье с черным передником, носить книги на левой руке, учить уроки, получать отметки…

– Твоя мать портниха?

– Да.

– Значит, ты бедная?

Я пробормотала:

– Не знаю.

– Наверно, бедная, если даже не можешь поступить в прогимназию Кржевской. Мы тоже бедные, хотя мать почему-то не хочет в этом сознаться.

Он помолчал.

– Тебе интересно, что происходит в душе?

Я сказала, что интересно.

– Один день я совершенно не врал. Кажется, что это очень мало. А на деле – много, потому что большинству людей приходится врать буквально на каждом шагу. Например, ты утверждаешь, что не хочешь чаю. Это вранье из вежливости. Ты вежливая и поэтому врешь. Бывает вранье от гордости, страха и так далее. Я составил таблицу – видишь, висит на стене. Я тебе ее потом объясню.

Он вышел и через несколько минут принес мне стакан чаю и два сухаря.

– Да, здорово тебе досталось, – сказал он, поставив чай и сухари на комод (так, что я все равно не могла их достать) и забираясь в кресло с ногами. – Просто чудо, что ты осталась жива. Очевидно, крепкий организм. Он трое суток возле тебя просидел.

– Кто?

– Митька. Сам чуть не умер. Возможно, что он тебя жалел, раскаивался. Но, по-моему, он боялся не того, что ты вообще умрешь, а того, что если ты умрешь, его отправят на каторгу или в арестантские роты. Впрочем, полной уверенности у меня нет, так что пока ты думай что хочешь.

Я помолчала. Мне было приятно, что он так серьезно со мной говорит.

– У меня мать боится городовых, – снова сказал мальчик. – Это странно, потому что она ни в чем не виновата. Но, видя городового, она становится очень любезной, чего не бывает почти никогда. Она их подкупает.

– Зачем?

– Они приходят с протоколами на Митьку, и она каждый раз дает им по рублю. В среднем это выходит по пяти рублей в месяц. Но, конечно, то, что он тебя муть не убил, обойдется дороже… Это уже бенефис. Ты застрахована?

Я не знала, что такое «застрахована», но на всякий случай сказала, что да.

– Тогда придется еще и твою страховку платить.

Он увидел чай и сухари на комоде, и у него стало расстроенное лицо.

– Ах, так? – сказал он и правой рукой стал закручивать кожу на левой. Он ущипнул себя, изо всех сил закрутив кожу. – Не удивляйся, – добавил он и улыбнулся, хотя я видела, что ему очень больно. – Это я отучаюсь. Понимаешь?

– Нет.

– От рассеянности.

Он взял чай с комода и поставил на стул, у моей постели.

– Пей, пожалуйста. Что тебе еще принести? Ты ведь теперь можешь жевать?

– Могу.

– Вот и хорошо. Я тебе еще принесу хлеба с маслом.

Вот что рассказал мне Андрей – так звали этого мальчика. Оказывается, когда Митя выстрелил в меня, я так закричала, что ему потом чудился этот крик до утра. Они подбежали ко мне, и долго не могли понять, что случилось, пока не заметили, что у меня на груди платок весь мокрый от крови. Раевский предложил отправить меня в больницу, но Митя сказал: «Я это сделал, я и буду отвечать», – и повез меня к Агнии Петровне, к той полной даме в пенсне, которая была, как я потом узнала, матерью Андрея и Мити.

– Но возможно, что как раз наоборот, – заметил в этом месте Андрей. – Он боялся, что придется отвечать за тебя, и именно поэтому настоял, чтобы тебя не отправляли в больницу.

Так или иначе, но меня привезли в этот дом, когда я уже почти не дышала. Агния Петровна чуть не сошла с ума. Митя тоже был в таком отчаянии, что пришлось отнять у него револьвер, чтобы он не покончил с собой.

Главный врач военного госпиталя, которого он разбудил в два часа ночи и от которого не ушел, пока этот врач-генерал не согласился поехать, сказал, что меня нельзя трогать с места. Он сказал, что я все равно, вероятно, умру, но если меня начнут таскать, то я умру очень скоро. Пуля прошла очень близко от сердца, к счастью навылет, и только слегка задела что-то такое, без чего совсем нельзя жить, даже десять минут.

И вот меня уложили, а Митя уселся подле моей постели и не уходил трое суток, пока наконец сама Агния Петровна не уговорила его отдохнуть.

Несколько раз мне было совсем плохо. Тогда Агния Петровна плакала и говорила, что Мите обеспечены арестантские роты. Мою мать она всячески стремилась подкупить – во-первых, деньгами, а во-вторых, прогимназией Кржевской. Но мать не понимала, чего от нее хотят, и бессмысленно уверяла, что я все равно поправлюсь. «Бессмысленно», – так сказал Андрей, но я-то поняла, что совсем не бессмысленно, а потому что она гадала на меня и вышло, что я поправлюсь.

Глаша Рыбакова тоже приходила ко мне, но Агния Петровна ее не пустила.

– А кто эта Глаша Рыбакова?

– Да, ведь ты не знаешь, – сказал Андрей. – Это барышня, в которую влюблены Раевский и Митя.

Глаша была гимназисткой восьмого класса. Она была красавица, но Агния Петровна не хотела, чтобы Митя женился на ней, во-первых, потому, что ее родители были какие-то темные люди, а во-вторых, потому, что у нее брат «зачитался» и его отправили в сумасшедший дом. Зачитался – это означало, что он прочел больше книг, чем могла переварить его голова. Но Агния Петровна утверждала, что это только предлог, а на самом деле все Рыбаковы идиоты. Об этом она часто спорила с Митей, и однажды Андрей слышал, как Митя сказал, что он все равно женится на Глашеньке, потому что иначе у него будет «кукольный дом». А Агния Петровна сказала, что для Мити Ибсен важнее, чем мать. Ибсен был писатель, в которого Митя верил как в бога и который, оказывается, написал пьесу «Кукольный дом».

Все это было очень интересно, хотя я и не все поняла. Красавица – вот что меня поразило! Как наяву, я увидела ее с распущенными белокурыми волосами, в бальном платье с белым атласным корсажем. Таких красавиц я видела на новогодних открытках.

– А она знала, что они собираются драться?

Оказывается, знала. Один из секундантов заехал к ней накануне, но она засмеялась и сказала, что она тут вообще ни при чем.

– Это подло, правда? – спросил Андрей, подумав.

Я согласилась, что подло.

Что же произошло после этой дуэли? Ничего особенного! Исправник вызвал Агнию Петровну, и если бы у него не стоял на прокате самый лучший концертный рояль, за который он уже целый год ничего не платил, Митя был бы выслан в уезд. При чем тут концертный рояль – это было не очень-то ясно. Но Андрей не стал объяснять, а я только подумала и не спросила.

«ДЕПО ПРОКАТА РОЯЛЕЙ И ПИАНИНО»

«Депо проката роялей и пианино» – вот как назывался этот дом, в котором я лежала и поправлялась, хотя врач-генерал объявил, что я непременно умру. Я и прежде знала, что в нашем городе существует такое депо. Это была первая вывеска, которую мне удалось самостоятельно прочитать, и я на всю жизнь запомнила большие белые буквы с веселыми хвостиками на ярко-зеленом фоне. Правда, мне казалось, что в этом депо, так же как и в пожарном, должна быть вместо лестницы дырка со столбом, по которому можно мгновенно спуститься вниз в случае тревоги. Но хотя дырки не оказалось, все-таки это был не совсем обыкновенный дом, навсегда оставшийся для меня именно «депо», то есть местом, где все происходит неожиданно и ничего нельзя предсказать. Неожиданно, например, за стеной появлялись мамонты, спускались и поднимались по лестнице – это грузчики таскали вверх и вниз тяжелые инструменты.

Кстати, это стало одним из воспоминаний моего детства: крики на лестнице: «Тащи, заходи!» – и беспомощно плывущий по воздуху рояль, похожий на какое-то животное, у которого только что отрубили ноги.

Я провела у Львовых шесть недель. Но все, что я увидела и услышала в «депо», было так ново для меня, что эти шесть недель еще и теперь кажутся мне чем-то очень долгим, интересным и стоящим как бы отдельно от того, что случилось потом. Конечно, мне запомнилось только самое главное, то, что поразило меня, когда врач позволил мне вставать. Я обошла всю квартиру и в каждой комнате нашла самое главное, а уже за ним, в отдалении, нарисовалось – и рисуется до сих пор – все остальное. Таким самым главным в комнате Андрея, где я лежала, отгороженной двумя комодами и полинялым ковром от столовой, была «таблица вранья», на которой он каждый вечер отмечал, сколько раз ему пришлось соврать и по какой причине.

Посреди таблицы шла зигзагами синяя линия – «кривая», как объяснил мне Андрей. При помощи «кривой» он определял силу и зависимость вранья от различных обстоятельств жизни. Таблица висела над изрезанным столом, который был завален тетрадками – не Андрея, а Мити и вообще старшего поколения, учившегося в той же Лопахинской гимназии. Эти тетрадки тоже поразили меня. Все, что угодно, можно было найти в них: и труднейшие алгебраические и геометрические задачи с решением, и письменные работы по латыни, и русские сочинения на любую тему. Не только Андрей, но весь его 4-й класс &quot;Б&quot; списывал с этих тетрадок. Это называлось «заглянуть к Шнейдерману». Шнейдерман был старший брат одного из Митиных товарищей и учился давно, лет десять назад. У него все было правильно решено, а по домашним сочинениям всегда стояло не меньше «четырех с плюсом».

В столовой самым главным для меня был портрет белокурого молодого человека с бородой и усами, в таком высоком стоячем воротнике, что сразу становилось ясно, почему у молодого человека такой растерянный, полузадушенный вид. Андрей сказал, что это «шарж на отца», то есть что художник нарочно нарисовал отца в смешном виде, чтобы друзья и знакомые подсмеивались над ним. Отец Андрея и Мити был известный адвокат, которого в Киеве черносотенцы убили камнем, когда он ехал из суда в открытой пролетке. После этого Агния Петровна с детьми уехала из Киева и поступила к фабриканту Юлию Генриху Циммерману, который открыл в Лопахине одно из своих «депо». Дом, в котором помещалось «депо», принадлежал Циммерману, и за свою квартиру Агния Петровна тоже платила ему.

В Митиной комнате самым главным была лежавшая на столе запаянная стеклянная трубка, о которой Андрей сказал, что это яд кураре и что одной капли этого яда достаточно, чтобы отравить сто семьдесят шесть человек. А сто семьдесят седьмой уже не умрет, но на всю жизнь останется инвалидом. Тут же он добавил, что, вероятно, это вранье и что в данном случае Митя врет «из желания порисоваться». Я не знала, что такое «желание порисоваться» и решила, что Митя просто хочет, чтобы его нарисовали. Таким образом, от меня надолго ускользнула таинственная связь между ядом кураре и этим невинным желанием.

Кроме яда кураре у Мити на столе стояли пепельница из черепа и красная голова какого-то старика с острой бородкой и разлетающимися бровями.

Андрей сказал, что это бес Мефистофель и что он выведен в знаменитой опере «Фауст». На лысой голове Мефистофеля, на бородке и даже на носу было множество надписей и изречений – некоторые очень странные и запомнившиеся мне навсегда. На носу было написано: «Гений или безумство!» Я спросила у Андрея, что такое гений, и он ответил, что гений – это, например, Шнейдерман.

В комнате Агнии Петровны самым главным было то, что комната была красная. Обои, гардины, кушетка с двумя низенькими пуфами по бокам, ковер над кушеткой, абажур на толстых шнурах – все было красное или розовое, но розовое лишь потому, что выгорело на солнце. Это было устроено очень давно и не для Агнии Петровны, а для ее сестры, которая никак не могла выйти замуж. По мнению Андрея, у нее была «отталкивающая внешность». Но на фоне этой красной комнаты ее внешность уже не так отталкивала, так что в конце концов один пожилой ветеринарный врач сделал ей предложение. И сестра уехала, а комната так и осталась красной. Андрей сказал, что если в эту комнату поместить быка, он сначала взбесится, а потом увидит, что абсолютно все красное, и станет смирным, как теленок.

Комнату, которая находилась рядом со мной, занимал родной брат Агнии Петровны, дядя Павел, который так напугал меня, когда я очнулась. Он был больной и очень старый, чуть не на двадцать пять лет старше Агнии Петровны. Это он постоянно скрипел пером и бормотал за стеной. Но когда я присмотрелась к Нему, мне показалось, что он не такой уж страшный. Стуча своими двумя палками, согнувшись пополам, он ходил по дому.

Дядя Павел был доктором, но уже давно почти никого не лечил. Зато он писал, и стоило заглянуть к нему в комнату, чтобы убедиться в том, что это у него получалось прекрасно. Вся комната была завалена бумагой, исписанной отчетливым мелким почерком – каждая буква отдельно. Под столом, на окнах, на шкафу – всюду лежали журналы, из которых торчали закладки. Он писал «труд», как сказал мне Андрей.

Все у Павла Петровича было ветхое и старомодное: ковровое кресло с выдвижной скамейкой для ног, столик для курения, висевшая над постелью выцветшая малиновая скатерть, оклеенная голубыми раковинками туфля для часов и очень много фотографий, на которых была одна и та же красивая дама – то в бархатном платье с длинным шлейфом, то в шлеме и латах, то в русском национальном костюме. Сам доктор тоже был снят – еще совсем молодой, с бородой и усами, в цилиндре и в белом жилете. В комнате было два окна с широкими подоконниками. На одном стоял прибор, о котором Андрей сказал, что это микроскоп, вроде подзорной трубы, но подзорная труба увеличивает в сто раз, а микроскоп – в тысячу. На другом подоконнике было много стеклянных трубочек, заткнутых ватой, и в старом, треснувшем стакане постоянно лежало что-нибудь заплесневелое – кусочек сыру или апельсинная корка. В комнате всегда немного пахло плесенью, и от самого Павла Петровича – тоже.

Такая же ветхая, как и все в этой комнате, фисгармония стояла в углу. Иногда доктор играл на ней, и тогда фисгармония начинала вздыхать, как будто она была живым существом, которому нужно было набрать воздуху, чтобы не задохнуться.

СКОРО ДОМОЙ

Мама приходила ко мне каждый день, одетая нарядно, в кашемировой шали, которую она надевала только по праздникам или когда шила у Батовых – был в Лопахине такой богатый купеческий дом.

Мне не нравилось, что, когда входила Агния Петровна, мама начинала говорить о забастовках на кожевенном или о том, что в Германии тоже голод, так что запрещено крахмалить белье, и Вильгельм II лично приказал чистить не сырой, а вареный картофель. Вообще что-то изменилось в маме за те дни, что я лежала у Львовых. Казалось, она была еще чем-то глубоко расстроена – не только тем, что случилось со мной.

Я думала об этом, а потом забывала.

Мне было некогда – просто не запомню, когда еще я была так занята! Андрей дал мне книгу «Любезность за любезность», я читала ее каждый день и каждый день узнавала такие вещи, которые прежде не могли мне даже присниться.

Суп, оказывается, нужно было есть совершенно бесшумно, причем ложку совать в рот не сбоку, а острым концом. Подливку не только нельзя было вылизывать языком, как я это делала постоянно, но даже неприличным считалось подбирать ее с тарелки при помощи хлеба. Пока девушка не замужем, она, по возможности, не должна выходить со двора одна или с двоюродным братом. Нельзя было спросить: «Вам чего?», а «Извините, кузина, я не поняла» или: «Как вы сказали, дедушка?» В спальне молодой девушки все должно, оказывается, дышать «простотой и изяществом». С родителями – вот это было интересно! – следовало обращаться так же вежливо, как и с чужими. Дуть на суп нечего было и думать, но зато разрешалось тихо двигать ложкой туда и назад для его охлаждения.

Но больше всего меня поразило, что при всех обстоятельствах жизни девушка должна быть «добра без слабости, справедлива без суровости, услужлива без унижения, остроумна без едкости, изящно-скромна и гордо-спокойна».

Я представляла себе жизнь по книге «Любезность за любезность»: муж в крахмальном воротничке сидит и читает газету; дети тоже сидят и молчат, потому что за столом, кроме «мерси», дети не должны произносить ни слова; никто не сопит, не зевает, не хлебает громко и не дует на суп. Вдруг приносят телеграмму: неприятное известие – мы разорены. Я читаю и остаюсь изящно-скромной и гордо-спокойной.

Да, это была интересная книга, хотя она надолго отравила мне жизнь: почти полгода я не могла двинуть ни рукой, ни ногой, не вспомнив прежде, что советует по этому поводу «Любезность за любезность».

Но, конечно, не только эта книга заставила меня на время совершенно забыть свою прежнюю жизнь.

Прежняя жизнь – это был трактир Алмазова, в котором однажды я полдня простояла на коленях за пятнышко на столовом ноже. Это были поздние возвращения домой, сперва очень страшные и тоскливые, а потом привычные и все-таки страшные, особенно когда я поднималась на Ольгинский мост и картина бедного посада, раскинувшегося между рекой и полем, издалека открывалась передо мной. По крутой обледеневшей лестнице я спускалась на набережную, и голые, черные тополя встречали меня глухим звоном ветвей.

Прежняя жизнь – это была наша комната в доме «личнопочетного гражданина Валуева» (как было написано на доске у ворот), в деревянном двухэтажном доме с такими тонкими перегородками, что мы с мамой привыкли шептаться, хотя нам нечего было скрывать от соседей. Как я ни была мала, но уже тяготилась знанием всего, что каждый час происходило в доме.

Прежняя жизнь – это была, например, Лелька Алмазова, которая, возвращаясь после уроков, нарочно проходила мимо меня со своей круглой заячьей муфточкой на шнурах, муфточкой, которая так нравилась мне, что один раз мне даже приснилось, что я ее съела. Лелька была дочерью хозяина и училась в прогимназии Кржевской.

Да мало ли чем еще была эта прежняя жизнь!

Так или иначе, она волшебно оборвалась в то мгновение, когда, сказав: «А, черт с тобой!» – высокий гимназист в сдвинутой на лоб фуражке направил на меня револьвер.

Оборвалась, и я нисколько не жалела об этом. Напротив, с тоской думала я о том, что пройдут две или три недели, и все это – трактир Алмазова, тополя, мамин шепот и ее непонятные слезы по ночам – все начнется снова, а то, что я увидела и узнала в «депо», так и останется в «депо» навсегда. И больше всего я жалела, что не будет наших удивительных разговоров с Андреем.

Он приходил ко мне каждый день после гимназии, и я уже ждала его, хотя, конечно, не подавала виду и, когда он входил, всегда оставалась «гордо-спокойной». Книги, стянутые ремешком, летели на пол, он усаживался в кожаное кресло и сразу начинал говорить. Когда я рассмотрела его, он оказался довольно плотным мальчиком с широкими плечами и широкой грудью. Но первое впечатление медлительности, пристального внимания и озабоченности чем-то таким, что для других людей не представляет интереса, сохранилось и даже стало сильнее.

В те дни, когда я поправлялась и уже начинала понемногу вставать, он был озабочен главным образом Митиными делами.

– Возможно, Митя даже не боится, что его исключат, – сказал он мне однажды, – потому что он уверен, что скоро будет революция, и после революции могут стать совершенно другие законы. У них в классе есть один монархист.

Я не знала, кто это монархист. В подобном случае полагалось «учтиво молчать». Я промолчала.

– Все остальные – эсеры, эсдеки и три кадета, – продолжал Андрей. – А монархист – один Катык. Знаешь «Гильзы Катыка»? Но это тоже вранье. Просто он хочет отличаться хоть чем-нибудь от других.

Мне захотелось спросить, зачем Катыку отличаться хоть чем-нибудь от других, но, чтобы не попасть впросак, я промолчала. Впрочем, куда больше меня интересовало другое, и, постаравшись придать своему лицу «изящно-скромное» выражение, я спросила Андрея, как он думает: женится ли Митя на Глашеньке Рыбаковой?

– Женится, – подумав, сказал Андрей. – Но для него это не имеет большого значения. Мама говорит, что это первая любовь, хотя, по-моему, не первая, потому что Митя уже несколько раз собирался жениться.

Насчет первой любви я прочитала, что она «не хочет быть подмеченной посторонним взглядом». Но это, очевидно, не имело отношения к нашему разговору, хотя бы по той причине, что насчет Митиной первой любви, о которой говорил весь город, нельзя было сказать, что она «не хочет быть подмеченной посторонним взглядом».

– Ему вообще не так легко жениться, – помолчав, продолжал Андрей. – У него ведь компания.

– Какая компания?

– Зернов, Ковалевский, Лазарев, Колышкин из &quot;А&quot; класса и Рубин. Эта компания на него влияет, чтобы он не женился, особенно Рубин. Но если Митя решится – кончено! Увезут.

– Кого?

– Глашеньку. Увезут на тройках в Петров, и ищи ветра в поле.

Петров был соседний городок.

– У них все за одного, один за всех. Знаешь, что у них на выпускном жетоне будет написано? «Счастье – в жизни, а жизнь – в работе». Между прочим, я почти согласен с этим девизом. Хотя что счастье – в жизни, это глупо. Несчастье – тоже в жизни. Но они таким образом выводят, что счастье – в работе. Это, пожалуй, верно. Как ты думаешь?

Я сказала, что смотря какая работа…

Самого Митю я почти не видела. С тех пор как я очнулась и главный врач-генерал объявил, что как это ни странно, но я, очевидно, поправлюсь, Митя исчез и перестал интересоваться моей судьбой. Только раз, заглянув в мою комнату, он спросил бодрым, равнодушным голосом: «Ну, как дела, Татьяна? Вид прекрасный!» – хотя у меня не мог быть прекрасный вид, потому что я в тот день объелась стручками.

Андрей сказал, что это для него характерно.

– В данном случае ты – это прошлое, – объяснил он. – А для людей типа Мити прошлое вообще не имеет большого значения.

Мама сказала, что на днях возьмет меня домой, и каким же коротким показалось мне это «на днях» в сравнении с теми длинными, однообразными годами, которые я должна была провести в посаде Замостье. Агния Петровна подарила мне книгу – сочинения Пушкина, а маме – свое старое бальное платье из шелка дамасэ, покрытое тюлем, по которому были нашиты блестки. Уже меня пригласили к столу и был подан обед, который никто не называл прощальным, но который все-таки был прощальным, потому что меня в первый раз пригласили к столу. Между прочим, за этим обедом я поразила весь дом своей вежливостью, ни разу не спросив: «Чего?», а говоря: «Как вы сказали, Агния Петровна?», или: «Извините, дедушка, я не поняла». На суп я, правда, подула, но сразу же спохватилась и стала двигать ложкой туда и назад для его охлаждения.

Уже Андрей спросил меня равнодушно:

– Уезжаешь?

И соврал, потому что он вовсе не был так уж равнодушен к тому, что я уезжаю.

Уже мне представилось, как я буду прощаться с пагодами на обоях, с кожаным креслом, с кругом от керосиновой лампы на потолке, на который я всегда смотрела, засыпая. В последний раз я услышу стук посуды, доносившийся из столовой, вздохи старой фисгармонии, голоса Митиных друзей, каждый вечер споривших о старшем брате Рубина – «политическом», который был арестован в прошлом году. Уже я уложилась, то есть завязала в платок две книги, рукоделие и резинку «Слон», которую подарил мне Андрей. И вдруг обо мне забыли! Весь дом, начиная с Агнии Петровны и кончая прислугой Агашей, оказался так занят, что обо мне забыли, и я осталась у Львовых еще на несколько дней.

СТАРЫЙ ДОКТОР

В комнате Андрея были антресоли, большая полка под потолком для хранения вещей. Время от времени Андрей приносил стремянку и доставал с антресолей «Ниву» – иллюстрированный еженедельный журнал, выходивший в СПб. с 1869 года. Эту «Ниву» Андрей решил прочитать всю и, когда я лежала у Львовых, уже дошел до 1904 года.

Но на этот раз со стремянкой явилась Агаша. Пыхтя, она влезла на антресоли – снаружи остались торчать только толстые голые пятки – и спустилась вниз с большим чемоданом.

– Поехали в Петроград, – сказала она и ушла.

Я не очень удивилась, потому что знала от Андрея, что Агния Петровна иногда ездила в Петроград. Там жил Юлий Генрих Циммерман, которому принадлежало лопахинское «Депо проката». На некоторых роялях и пианино его фамилия была написана по-немецки. Кроме того, Агния Петровна ездила в Петроград за артистами. Она занималась устройством концертов, и в этом отношении у нее, по мнению Андрея, были большие заслуги.

В Петроград она собралась поехать за артистами – так я поняла Агашу.

Ничего подобного! Агаша вернулась, снова полезла на антресоли, на этот раз за ремнями, и, спустившись, объявила, что Агния Петровна едет к министру.

– Едем к графу-министру, – сказала она загадочно. – А там – что бог даст. Так не оставим.

Мы с Агашей подружились за тот месяц, что я лежала у Львовых. Она была толстая, пугливая и все любила представлять в таинственном виде.

Я спросила:

– К графу или министру?

– К графу-министру, – строго повторила Агаша. – Будем жаловаться.

И она опять ушла, погрозив кому-то ремнями. Это было интересно, хотя загадочный граф-министр существовал, разумеется, лишь в воображении Агаши. Я сунулась за ней на кухню, но она выгнала меня. Немного огорченная, я принялась за книгу. Вот кто-то постучал, Агаша открыла, и мужской голос спросил, дома ли Митя. Мити не было дома.

Вот Агния Петровна прошумела платьем по коридору, и я услышала, как она приказала Агаше звать ее, если будут спрашивать Митю, а сама торопливо вернулась к себе и закрыла двери на ключ. Что-то тревожное почудилось мне в этих быстрых шагах, хлопанье дверей, щелканье замка, даже в шуме ее тяжелого платья. Должно быть, на этот раз Митя действительно «устроил бенефис», если нужно было хлопотать за него в Петрограде.

Старый доктор вздохнул за стеной, и я вдруг решила пойти к нему – может быть, он скажет мне, что случилось?

На цыпочках я прошла через все комнаты и заглянула к нему – дверь была приоткрыта.

– Здравствуйте, дядя Павел.

Он кивнул и продолжал писать. Прежде он писал неторопливо, приставляя одну круглую буквочку к другой. А сегодня – я посмотрела – очень быстро, неразборчиво и уже поставил несколько клякс, но не обратил на них никакого внимания.

Я сказала любезно:

– Вы сегодня гуляли, дядя Павел? Мороз семь градусов, но день прекрасный.

Старый доктор поднял левую руку и помахал – очевидно, чтобы я замолчала. Я хотела уйти, но он снова помахал – очевидно, чтобы я оставалась. Я осталась. Он писал молча, с крепко сжатыми губами. Перо сломалось, он пробормотал энергично «черт!» и схватил другое.

Это продолжалось долго – так долго, что мне стало казаться, что это было всегда: старый доктор всегда сидел и писал, а я всегда смотрелась в зеркало над умывальником и строила рожи. Теперь, когда я стала худенькая и бледная после болезни, с этими скулами, большими глазами и косичками, которые в разные стороны торчали над ушами, у меня стали выходить великолепные рожи. Потом я посмотрела на доктора, на его согнутую спину. Что он пишет? О чем думает в эту минуту? Почему не хочет, чтобы я уходила? Как это странно, что я думаю об одном, а он – совершенно о другом! Я пришла, чтобы спросить о Мите, что случилось и зачем Агния Петровна собралась в Петроград. А он и не думает об этом. Он пишет «труд», и ему все равно, чем заняты Агния Петровна, и моя мама, и Агаша, и Митя. Не знаю, как передать это чувство, но в ту минуту я впервые сознательно оценила ход чужой мысли, которая стремится вперед, не обращая внимания на тысячи других маленьких мыслей, окружавших ее со всех сторон.

Наконец доктор оставил свое писание. Он снял очки, и я увидела его круглые грустные глаза с ободком вокруг цветного колечка, как это бывает у очень старых людей.

– Вот слушайте, – сказал он.

Он сказал «слушайте», как будто перед ним был весь мир, а не одна-единственная худенькая девочка с косичками, которая не поняла ни слова из того, что он прочитал. Сперва эта девочка слушала внимательно, потом устала и снова начала коситься в зеркало, с трудом удерживаясь, чтобы не состроить еще одну рожу. Потом выпрямилась, вспомнив, что нужно сидеть, не касаясь спинки стула.

А доктор все читал. Глаза его сияли, красные пятна выступили на щеках, там, где борода переходила в мягкую, симпатичную шерстку под глазами. Он спорил о чем-то и один раз, рассердившись, даже ударил кулаком по столу.

В другом месте он закинул голову и с детским торжеством взглянул на меня из-под очков. Улыбаясь, он два раза с расстановкой повторил какую-то фразу. Он лукаво прищуривался, закусывал бороду, поднимал брови и умолкал, как будто ожидая от меня возражений.

Через много лет среди его рукописей я нашла эту страницу. Я узнала ее по кляксам и еще по тому, что одна из клякс была чем-то похожа на кошку. Вот что старый доктор писал о задачах науки:

&quot;Пытаться объяснить достоверные, но кажущиеся поразительными факты как следствие других, уже давно известных. Подорвать их необычайность. Рассеять видимость чудесного. Познакомить человечество с новыми и действительно чудесными явлениями, перед которыми бледнеют мнимые чудеса… &quot;

Он замолчал и, совершенно забыв обо мне, стал переделывать какую-то фразу. Я посидела еще немного и побежала к себе, потому что кто-то опять спросил Митю, и Агния Петровна разговаривала с пришедшим в передней, а из моей комнаты было слышно все, что происходило там.

Это пришел Митин товарищ, Рубин, маленький, удивительно черный и умевший широко открывать один глаз, а другой в то же время закрывать без единой морщинки. Это получалось смешно. Андрей говорил, что Рубин – самый спокойный человек на свете и что он только один раз в жизни потерял равновесие: когда его старшего брата, студента, посадили в тюрьму. Старший Рубин был большевиком – об этой партии мне почти ничего не удалось узнать от Андрея.

– Приятная новость, нечего сказать, – в десятый раз повторила Агния Петровна. – Только этого еще не хватало!

– Агния Петровна, – сказал Рубин, – по-моему, это все подлец Борода.

«Борода» было прозвище латиниста.

– При чем тут Борода? Где Митя?

– Ей-богу, не знаю. Логически он должен быть дома. Но поскольку он находится под влиянием некоего алогического чувства, он может в данный момент оказаться вне дома.

– То есть он у Глашеньки? – с гневом спросила Агния Петровна.

– Возможно.

– Так вот иди к нему и скажи, что если он не явится сию же минуту…

И она сказала то, что говорила всегда: что она никуда не поедет, не ударит пальцем о палец и так далее.

Рубин ушел, в передней стало тихо, и я бесшумно приоткрыла дверь. Сквозь щелку была видна не вся Агния Петровна, но даже и по ее щеке, по руке с кольцами, которую она держала у виска, можно было заключить, что она глубоко расстроена и не знает, на что решиться. Мне захотелось сказать ей, что все обойдется, но в эту минуту опять постучали. Агния Петровна открыла, и в шинели нараспашку вошел улыбающийся, но взволнованный Митя.

– А, это ты? – странным голосом спросила Агния Петровна. – Что, доигрался?

Он перестал улыбаться, и лицо стало, как во время дуэли, напряженным и мрачным, с пристальным взглядом.

– Пойдем ко мне и поговорим, – повелительно сказала Агния Петровна. – Я сегодня еду.

И они ушли. Это было уже не просто интересно – это была какая-то тайна, и я не могла найти себе места, дожидаясь, когда Андрей вернется из гимназии и расскажет, в чем дело.

Наконец он явился. Я увидела его через кружок, который надышала на замерзшем стекле. Нос и рот у него были запачканы чем-то темным, но мне и в голову ничего не пришло – так неторопливо и важно он шел. Только когда, присев на корточки, он стал прикладывать снег к лицу, я поняла, что это кровь, потому что снег сразу становился красным.

Не знаю, что удержало меня, – я едва не выбежала к нему из дому. Может быть, то, что он в это мгновение оглянулся – наверное, не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как он сидит у крыльца и прикладывает снег к разбитому носу.

Но вот он постучался. Агаша открыла, и, отвернувшись от нее, он быстро прошел в комнату Мити. Я сразу побежала за ним, постучалась, позвала. Не тут-то было!

– Кто там?

– Это я! Таня!

– Приходи через час, – сказал Андрей. – Или вот что: приходи завтра.

ЗАГАДКА

Сани стояли у подъезда, заиндевевшая лошадь была похожа на косматого яка в оглоблях, и, хотя кружок на стекле замерз, я все-таки узнала по крупной, полной фигуре, спускавшейся с крыльца, Агнию Петровну, а в тонкой и высокой – Митю, выскочившего без шинели. Извозчик отстегнул полсть, Митя подал ему чемодан, и Агния Петровна села, подняв плечи и держась очень прямо, как будто была привязана к невидимой палке. Сани тронулись, и у крыльца все стало как пять минут назад: тишина и снежинки, заметные, лишь когда они пролетали через полосу света…

В «Любезности за любезность» не было ни слова насчет того, как поступить, если мальчику разбили нос и он невежливо сказал знакомой девочке: «Приходи завтра».

Но там был интересный совет: «В затруднительных случаях ставь себя на место того, с кем ты находишься в тех или других отношениях». Я поставила, и получилось, что, если бы мне разбили нос, я бы тоже не вышла из своей комнаты, и не день или два, а может быть, неделю. Поэтому на другой день, подождав для приличия, пока Андрей умоется и позавтракает – было воскресенье, и он встал очень поздно, в десятом часу, – я зашла к нему и поздоровалась, как будто ничего не случилось.

– С добрым утром!

Он поднял глаза от книги и тоже сказал:

– С добрым утром!

Мы помолчали. Потом я спросила, что он читает.

– Ната Пинкертона. «Злой рок шахт Виктория».

– Интересно?

– Очень.

Мы опять помолчали. Нос у него порядочно распух, и я не знала, что вежливее – спросить про нос или сделать вид, что я ничего не замечаю. Но Андрей сам решил эту задачу, и, как всегда, очень просто.

– Очевидно, тебе хочется спросить, отчего у меня распух нос? – спросил он серьезно.

Я сказала, как дура:

– Да.

– Мне его разбил Валька Коржич.

– Ну?

Коржича я немного знала. Это был беленький, хорошенький мальчик, о котором Андрей говорил, что с ним интересно, потому что у него сильная воля. Он приходил списывать «у Шнейдермана» алгебру.

– Из-за Мити, – продолжал Андрей. – Ты знаешь, что его исключили с волчьим билетом?

И он объяснил, что теперь Митя не может поступить ни в одно казенное учебное заведение, а только в частное, и придется давать огромную взятку, потому что в свидетельстве за семь классов будет сказано, что он исключен с волчьим билетом. Мать поехала в Петроград.

– Зачем? Хлопотать?

Андрей кивнул.

– Чтобы отменили волчий билет?

– Да.

Мы опять помолчали. Мне хотелось спросить, при чем тут Коржич и за что он разбил Андрею нос. Но я чувствовала, что не следует торопиться.

– Вообще это неправильно, что его исключили с волчьим билетом. Я говорю не как брат, а как посторонний. Директор сам сказал, что Митя талантливый, но что нельзя всегда отыгрываться на таланте. А по-моему, можно. Например, Юлий Цезарь в детстве был хулиган, а потом всю жизнь отыгрывался на таланте.

Я сказала:

– Безусловно.

Он замолчал и грустно потрогал нос – наверно, ему еще было больно.

– Но главное, понимаешь, заключается в том, что Митя считается неблагонадежным. Например, все знают, что он дружил со старшим Рубиным, которого в прошлом году забрали. Потом Борода один раз нашел у него в парте запрещенную книгу. Словом, здесь политическая подкладка.

И Андрей рассказал, что скоро должна произойти революция, и поэтому, что бы ни случилось, все сразу смотрят – это «за» революцию или «против». Митя написал сочинение о причинах упадка Римского государства, и все поняли, что под Римским государством подразумевалось наше – значит, «за». Директор вызвал Агнию Петровну и швырнул ей это сочинение – «против». На кожевенном заводе рабочие забастовали, и восьмой класс устроил в их пользу сбор – «за». Исправник приказал задерживать «всех лиц, виновных в возбуждении обывателей, стоящих в очереди за съестными продуктами», – «против». Митю исключили за политическую неблагонадежность – тоже, разумеется, «против».

На заседании педагогического совета победили «правые», вот почему с Митей расправились так беспощадно. А «левые» остались в меньшинстве. Правда, Раевского тоже исключили, но ему наплевать, потому что он едет в Петроград и поступает в Училище правоведения, а это еще выше гимназии.

Все это было очень сложно, но, в общем, понятно. Однако Андрей рассказывал с таким выражением, как будто эта борьба имела отношение к его разбитому носу, – вот это было уже непонятно! Я послушала еще немного, а потом спросила:

– А Коржич?

– Ах да! – сказал Андрей и крепко ущипнул себя за левую руку. – Совсем забыл! Мы подрались из-за его старшего брата.

– Из-за его старшего брата?

– Ну да. У него есть старший брат, который тоже против Мити, потому что Митя чуть не утопил его прошлым летом. Я сказал, что это нечестно, и мы подрались. Но потом я пожалел, что мы дрались, потому что Валька все-таки «левый». А его брат – «правый». В общем, все-таки жалко, что мама уехала, – неожиданно сказал Андрей. – Когда она уезжает, это всегда кончается более или менее плохо.

В самом деле, на другой день после отъезда Агнии Петровны все изменилось в «депо». К Агаше с утра пришли гости – между прочим, жандарм с женой, о котором я еще расскажу. Водки не было, но жандарм принес ханжу и рассказал, что в Петрограде не хватает соли, сахара, мяса, муки, дров и керосина.

Старый доктор забыл, обедал он или нет, и очень удивился, когда я ему сказала, что нет. Но все это были пустяки в сравнении с пакетами, которые принесли Митины товарищи Зернов и Рубин.

Первым принес пакет Ваня Зернов, о котором Андрей говорил, что он безумно богат, потому что у его отца «Мясная, зеленная и курятная». Он долго хохотал и топал в Митиной комнате, а потом, хватаясь за живот, вывалился из дверей как раз в ту минуту, когда я совершенно случайно проходила мимо. Дверь сразу захлопнулась, но я успела заметить, что Митя стоит перед зеркалом в каком-то странном наряде: на нем были широкие короткие штаны, из которых торчали длинные ноги, и пиджак, надетый на голое тело.

Потом пришел Рубин, тоже с пакетом. Раздеваясь, он положил его на стул, а мне нужно было посмотреть, где стоят мои калоши в передней, и я совершенно случайно толкнула этот пакет. Он упал мягко и развернулся. Я вскрикнула вежливо:

– Ах, виновата!

И бросилась поднимать пакет. В нем тоже был пиджак и что-то белое, манишка или рубашка, и ото всего этого сильно пахло нафталином. Рубин оттолкнул меня и сам поднял пакет. На пороге он обернулся и один глаз закрыл без единой морщинки, а другим посмотрел на меня – мне показалось, что с подозрительным выражением.

Это была загадка! Новые взрывы хохота донеслись из Митиной комнаты – заливистого, от всей души. Это смеялся Рубин.

Минут двадцать спустя он унес сверток.

Я слышала, как он ругал «бабье, которому приходят в голову нелепые мысли», и Митя не возражал, только спросил с отчаянием:

– Что же делать?

Я даже вспотела – так напряженно думала о том, что это значит. Конечно, я могла спросить у Андрея, но мне смертельно хотелось догадаться самой.

Может быть, в Дворянском собрании был? Но в Лопахине никогда не бывало больше одного бала в году, и этот единственный бал состоялся на днях.

Может быть, Митя хочет пойти к директору на дом в новом костюме и дать ему в морду? Он ненавидел директора, и я сама слышала, как он кричал Агнии Петровне, что на выпускном акте откажется подать ему руку. Да, это было самое вероятное! Я никогда не видела директора, но мне представился коротенький толстяк с красным лицом вроде нашего посадского пристава, и этот толстяк спрашивает: «Чем могу служить?» А Митя, очень бледный, с мрачным пристальным взглядом, подходит и бьет его сверху.

Эта мысль так взволновала меня, что я не выдержала и побежала &quot;к Андрею.

Он уже кончил «Злой рок шахт Виктория» и читал толстую книгу «Новый метод лечения».

– Значит, штаны были короткие? – спросил он, когда я рассказала ему эту загадочную историю.

– Да.

Он подумал.

– Немного ниже колен?

Я была поражена.

– Откуда ты знаешь?

– Я сделал заключение, – сказал Андрей. – В самом деле, откуда Зернов мог взять штатский костюм? Он стащил его у отца. А отец у него маленький, немного больше двух аршин. Но вообще это нечто такое, что стало возможно, только когда уехала мама. Вчера мама была дома, и никаких костюмов сюда никто не таскал. Следовательно, это подготовка к тому, чего при маме Митя сделать не мог.

Я согласилась.

– Теперь подумаем, зачем Митьке штатский костюм? Может быть, теперь, когда его выгнали из гимназии, он решил выступать?

– Как выступать?

– А разве ты не знаешь, что он семь лет учился играть на скрипке? Но потом бросил, потому что мама повезла его в Петроград и знаменитый скрипач Кубелик сказал, что у него не хватает слуха.

И он стал доказывать, что это вполне возможно; подобным способом Митя мог бы убить двух зайцев: во первых, показать презрение к «правым», во-вторых, прекрасно заработать. Кстати, за последнее время «депо» почти не приносит дохода, и Юлий Генрих Циммерман уже грозился, что уволит маму, и тогда ей останется только поступить учительницей музыки в прогимназию Кржевской.

Так мы и решили: Митя будет «выступать». Я немного расстроилась, а Андрей ничуть. Впрочем, вскоре выяснилось, что мы понимали под этим словом разные вещи: он думал, что Митя будет давать концерты вроде Мозжухина или Шаляпина в Дворянском собрании. А я решила, что Митя будет ходить по дворам и играть на скрипке, а потом обходить всех с шапкой, и дворники будут его гнать, а из открытых окон ему будут бросать пятаки, завернутые в бумагу. Поскольку Кубелик не нашел у него слуха, такое будущее казалось мне вполне вероятным.

СВИДАНИЕ

Все стало ясно для меня после этого разговора: Митя готовится к концерту. И когда я услышала – впервые за время, проведенное у Львовых, – что он играет на скрипке, я совершенно успокоилась и пошла погулять на дворе.

Это было второй или третий раз, что я выходила после выздоровления. Закутанная в три платка, похожая на бабушку – поверх платков Агаша еще накинула на меня большую деревенскую шаль, – я немного постояла у заднего крыльца, а потом тихонько обошла вокруг дома.

Когда впервые после болезни я вышла на двор и увидела крепкий снег, скрипящий под ногами, и высокое зимнее холодное небо, мне стало тоскливо, и я сразу же запросилась домой. Теперь я привыкла и гуляла с удовольствием, тем более что у Львовых был интересный двор. У них во дворе стояли ящики от роялей и пианино, так что можно было прятаться, играть в «казаки и разбойники» и придумывать, что ящики – это города. Гимназисты, удрав с большой перемены, отсиживались в этих ящиках, играя в карты, чтобы время не пропало даром.

Сейчас на дворе было пусто, и, побродив среди ящиков, я собралась домой, когда за калиткой показалась барышня в беленьком полушубке. Полушубок был хорошенький, обшитый мехом на рукавах и внизу, и барышня тоже хорошенькая: в этом я убедилась, когда, недолго постояв, она распахнула калитку и нерешительно перешагнула порог. Она была нежно-румяная, с большими глазами и какая-то хрупкая – это я почувствовала, когда, разговаривая со мной, она сняла рукавичку и стала поправлять волосы, которые выбились из-под меховой шапки вроде папахи.

– Девочка, ты здесь живешь?

– Да.

– А как тебя зовут?

– Таня.

Вот тут она сняла рукавичку и поправила волосы. Она волновалась. Вдруг она бросилась ко мне.

– Таня! Ты – Таня! Ну, как ты? Поправилась? Ты выходишь?

Я сказала любезно:

– Благодарю вас. Ничего. Значительно лучше.

– Как я рада!

Мы стояли посредине двора, и я видела, что она чего-то боится. Но, кажется, она еще и стыдилась, что приходится чего-то бояться. Я тоже волновалась, потому что давно поняла, что это Глашенька Рыбакова. Она не была красавицей с распущенными волосами, в белом атласном корсаже, но все-таки она тоже была красавицей, и я влюбилась в нее с первого взгляда.

Я сказала:

– Может быть, мы зайдем за ящики? Здесь что-то дует.

Она улыбнулась, и лицо стало еще нежнее. У нее были белые, удивительно ровные зубы и на верхней губке заметный, тоже беленький, заиндевевший пушок. Но в глазах было что-то мрачное – я заметила это, когда она улыбнулась.

– Нет, ведь я на минуту. Я хотела…

Она опять сняла рукавичку, теперь с левой руки, и стала вытряхивать из нее записку. Записка выпала, и она подала ее мне.

– Ты не можешь… Митя дома?

– Дома.

– Ты не можешь передать ему эту записку?

Я сказала вежливо:

– Сию минуту. Подождите, пожалуйста.

И не торопясь отправилась домой.

На всю жизнь запомнилось мне чувство ожидания чего-то необычайного – чувство, с которым я шла к Мите, крепко держа записку в руке. Честное слово, я бы не удивилась, если бы двери дома в эту минуту распахнулись сами собой!

Митя еще играл на скрипке, не зная, что его ожидает. Продолжая играть, он обернулся и недовольно вскинул брови, когда я вошла. Я осторожно отдала записку, точно это было что-то живое.

С этой минуты к чувству ожидания чуда присоединилось еще одно чувство, не оставлявшее меня весь этот день и потом еще много дней, когда я уже давно жила у себя в посаде. Это было чувство всматривания в то неизвестное, что заставило Митю мгновенно побледнеть, покраснеть, выбежать со скрипкой в руках на крыльцо, окинуть двор нетерпеливым, нежным и вместе с тем властным взглядом и побежать наперерез по нетронутому снегу прямо к ящикам, за которыми стояла она. То неизвестное, что заставило его через несколько секунд выйти вместе с Глашенькой и почтительно предложить ей руку, которую она приняла свободно и гордо. То неизвестное, которым были полны их движения, их лица, и то, что он вел ее, ничего не боясь, а она шла с прелестной улыбкой, немного несмелой, но совершенно доверяясь ему. То неизвестное, которое вдруг преобразило (не только для них, но и для меня – я смутно догадалась об этом) весь этот заваленный снегом двор, ящики и суровое зимнее небо.

Замирая от восторга, от счастья, я смотрела на них.

Я отпрянула, когда они поднялись на крыльцо, точно это были не люди, а какие-то волшебные существа, которые могли исчезнуть, если бы им этого очень захотелось. Они не затворили за собой дверь, и я очнулась, лишь когда Агаша закричала на меня из кухни таким обыкновенным, грубым голосом, как будто до того, что произошло, ей не было никакого дела.

Вовсе не концерт занимал Митю и не в Дворянском собрании собирался он выступать. Он хочет жениться на Глашеньке – вот зачем ему штатский костюм.

Очевидно, у меня был торжественный вид, когда я пришла со своей догадкой к Андрею, потому что он долго рассматривал меня, а потом сказал с интересом:

– Ты делаешь носом, как кролик.

Мне захотелось подразнить его, что я что-то знаю, а он не знает. Но я не успела. Вдруг приехала на извозчике мама и увезла меня домой.

ЗАМОСТЬЕ

Ничего как будто не переменилось в нашей комнате за то время, что я провела у Львовых: так же стояли на своих местах темно-красный комод под вышитой скатертью, обеденный стол и другой, маленький стол в углу со швейной машиной. Так же везде лежали и висели коврики и половики из цветных тряпок – мама шила их на продажу, но в последнее время их не стали брать, потому что во время войны жилось тяжело, а такая вещь, как коврик, была все-таки роскошь. На своем месте висела афиша, объявлявшая о спектакле «Бедность не порок», и точно так же среди действующих лиц и их исполнителей можно было найти П. Н. Власенкова – так звали моего отца. Все по-старому! Только котенок, которого еще осенью я подобрала на Плоской, стал большим пушистым котом да кенар перестал петь и сидел нахохлившись, сердитый и грустный.

Но вскоре я поняла, что изменилось многое.

Еще когда я лежала у Львовых и мама приходила ко мне каждый день, я чувствовала, что она держится со мной как-то иначе, чем прежде. С Агнией Петровной она разговаривала гордо, как будто для того, чтобы показать, что между ними нет никакой разницы, а со мной – торопливо-жалко, точно она была в чем-то передо мной виновата. Теперь мне все время казалось, что она что-то скрывает от меня – скрывает и боится, что я догадаюсь. Но и без всяких догадок я знала, что, если мама плачет по ночам и сидит на постели с остановившимся взглядом, значит, снова что-то случилось с отцом.

Это очень странно, но хотя мне минуло семь лет, когда отец уехал на Камчатку, я как-то сбивалась в своих представлениях о нем – он казался мне то одним, то совершенно другим. Только что я привыкала к тому, что папа служит в духовной консистории, как он являлся домой в форме Вольного пожарного общества, в блестящей медной каске, с какими-то черными звенящими веревками на груди. Он часто «менял должности», как говорила мама, и в каждой новой должности чувствовал себя совершенно другим. Каждый раз он был очень доволен, клялся маме и мне, что бросит пить, и много говорил о значении своей профессии для государства, так что мне, например, начинало казаться, что, если бы папа не поступил в Вольное пожарное общество на платную должность, Россия могла бы погибнуть от неосторожного обращения с огнем.

Я помню, как однажды мама взяла меня на дневной спектакль «80 тысяч лье под водой». Это была феерия, очень интересная и поразившая меня тем, что все действительно происходило под водой и даже была видна большая зеленая акула с неподвижно разинутой пастью. В этом спектакле участвовал папа. Я не узнала его, потому что он прошел по сцене только один раз в каком-то халате и сказал глухим голосом: «Нет, это судно!»

Но мама объяснила, что это был папа и что его так плохо слышно, потому что он под водой. Во втором акте он уже не был занят и вместе с другими свободными артистами дул на кисею, изображавшую море.

Это хорошее время скоро кончилось, потому что пошли дожди, антрепренер разорился, и папа получил за весь сезон одиннадцать рублей пятьдесят копеек.

Потом были другие должности: он являлся домой то в виде носильщика, то почтальона, так что это превратилось в какой-то номер с переодеваниями, который я однажды видела в цирке. Но это был не помер. Это был папа, который каждое утро со стоном расчесывал перед зеркалом редкие пушистые волосики и крепко брал в кулак маленький красный нос.

С тех пор прошло несколько лет, он давно уехал на Камчатку и в 1917 году должен был вернуться с капиталом в 3548 рублей, не считая драгоценных шкур, которые ему ничего не стоили, потому что он служил приказчиком и камчадалы, по его словам, так уважали его, что почти каждую неделю дарили по одному соболю и одной чернобурой лисице. Таким образом, к тому времени, когда, согласно договору, он мог уехать с Камчатки, у него должно было, по моему подсчету, накопиться 215 соболей и столько же черно-бурых лисиц. Мы с мамой так часто говорили об этих соболях и лисицах, что в конце концов отец стал представляться мне каким-то Робинзоном Крузо: в остроконечной меховой шапке, меховой куртке, меховых штанах и сапогах – все из соболей и черно-бурых лисиц. Он сидит на скале, а перед ним стоит голый черный Пятница с перышками на лбу – в «Ниве» я видела такую картинку.

Постепенно этот образ, который очень нравился мне, заслонил все другие…

Мама умела шить не только коврики и половики, а вообще была превосходной портнихой, получившей швейное образование в Петербурге, но заказов во время войны становилось все меньше, и ей все чаще приходилось гадать, хотя прежде она гадала только для друзей и знакомых. А потом и с гаданьем стали плохи дела, потому что в нашем посаде поселился звездочет, который гадал совершенно иначе, чем мама, и к нему стали приезжать даже из уезда, а у мамы гадали теперь только старухи, платившие иногда по две копейки. С разрешения полиции у звездочета на заборе были нарисованы звезды, он одевался под индуса, давал советы молодым и «объяснял призвание», то есть в какое высшее учебное заведение идти после окончания гимназии. А мама ничего этого не умела, и мне пришлось поступить сперва к Валуеву разбирать тряпки, а потом в трактир Алмазова судомойкой. И вот чем хуже шли наши дела, тем более могущественным рисовался мне папа.

Он был маленького роста, а теперь стал казаться большим. Он привезет огромный капитал и меха, и мне не нужно будет чистить ножи и вилки толченым кирпичом, а маме не придется сидеть за шитьем по ночам и будить меня, чтобы я вдела нитку в иголку: под утро мама почти переставала видеть.

В 1915 году папа прислал письмо, в котором не было ни одного слова о войне, и это еще больше уверило меня в его необычайном могуществе и силе. У нас тут гимназисты учатся в две смены, потому что новое здание отдано под лазарет, в посаде каждую ночь ловят дезертиров, почти всех извозчиков взяли на войну, и даже на тройках возят мальчики или бабы, а его там, на Камчатке, все это совершенно не интересует.

По-прежнему камчадалы таскают ему драгоценные шкуры, и он, задрав кверху свой уже не маленький, а большой красный нос, меняет соболей на табак и водку.

Была ли мама такого же высокого мнения о его камчатских делах? Не знаю. Она не жаловалась, но я видела, что ей тяжело. Все время у нее как будто что-то кипело на сердце. По ночам она теперь стонала, и когда, проснувшись, я кричала испуганно:

– Что с тобой, мама?

Она отвечала с глухим стоном:

– Не спрашивай.

Но не только с мамой произошло что-то непонятное за те шесть недель, что я провела у Львовых. Дома стояли на своих местах. К Валуеву по-прежнему везли на возах грязные разноцветные тряпки. Звездочет, одетый как индус, в чалме и белом халате, по-прежнему сидел у окна, раскладывая свои знаки и звезды. Но все как бы сдвинулось в глубине, и я в особенности чувствовала это, когда забегала в «Чайную лавку и двор для извозчиков», находившуюся напротив нашего дома.

От Лопахина пятнадцать верст до железной дороги, но извозчиков брали не только к вокзалу, а и в соседний городок Петров.

В Петров почему-то любили ездить гулять купцы, хотя это был грязный городишко, куда меньше Лопахина и стоявший не на реке, а в скучном еловом лесу. Среди извозчиков были «одиночки» и «троечники», ездившие на тройках и носившие синие кафтаны и низенькие бархатные шапки с павлиньими перьями. Троечники были богатые и к одиночкам относились с презрением.

Когда началась война, почти всех извозчиков взяли в армию, но некоторые троечники вернулись – «откупились», как говорили в посаде. Под утро, поставив лошадей во дворе, они заходили в чайную и молча садились за стол в шелковых рубашках, подпоясанных кушаками, на которых болтались гребенки.

Мне всегда казалось немного странным, что все уже было, когда я появилась на свет: дома, люди, земля, солнце, которое точно так же всходило и заходило. Но в том, что существовали эти троечники, у меня никогда не возникало ни малейших сомнений. Меня не было, а они точно так же сидели в шелковых рубашках, потные, бородатые, с расстегнутыми воротниками, и долго пили чай, а потом перевертывали стаканы и говорили «аминь».

И вот теперь, когда я вернулась домой, что-то переменилось в этом извечном чаепитии.

Во-первых, новые люди появились на постоялом дворе – худые, беспокойные, в папахах и солдатских шинелях. Я слышала, как посадский пристав спросил одного такого солдата:

– Какого полка?

Тот ответил:

– Битого, мятого, сорок девятого.

И засмеялся, когда пристав от неожиданности смешно шлепнул губами.

Во-вторых, в чайной появился Синица. Синица был троечник, который еще в мирное время славился тем, что у него были лошади по пятьсот рублей и он возил только «купечество и дворянство». На второй год войны он пропал, а теперь вернулся и завел тройку с сеткой и фонариками. Сетка была синяя, с кисточками и накидывалась на выезд, а фонарики Синица для шику зажигал на оглоблях. Он был маленький, страшный и носил черную бороду и усы, под которыми неприятно открывались красные губы. Он сверкал глазами, когда говорил, и вдруг становились видны желтые белки. В такие минуты я всегда вспоминала, как мама говорила о нем, что еще в мирное время он завез в лес и убил офицера.

Этот Синица теперь мало возил. Прекрасно одетый, в синей расстегнутой поддевке, под которой была видна алая шелковая рубашка, в лакированных сапогах, он сидел в чайной и читал вслух «Газету-копейку».

– С точки зрения национально-прогрессивного блока, университеты до конца войны надо закрыть, – сказал он однажды, – а студенчество отправить в окопы. А там на выбор, господа, – столбняк или пуля!

Я долго думала, «правый» он или «левый», но после этих слов решила, что «правый».

Вообще троечники были «правые», а рабочие с кожевенного, которые иногда заходили в чайную, были, конечно, «левые», а Синица нарочно громко читал «Газету-копейку», когда они торопливо – совсем не так, как извозчики, – ели ситничек с чаем. На Синицу они поглядывали кто сумрачно, кто равнодушно.

Все это была, конечно, политика. У Львовых мне казалось, что политика существует только для того, чтобы объяснить, почему Митю исключили с волчьим билетом. Как бы не так!

В Лопахине пропало мясо и масло – это была политика. Какого-то Протопопова назначили министром внутренних дел – тоже. Когда на кожевенном заводе бастовали, директор сказал рабочим: «Да я вас из снега накатаю сколько угодно», – тоже. Но однажды я видела, как по Лопахину провели большую партию «политических», закованных в кандалы, и какая-то старая женщина бросилась к арестантам (потом говорили, что она узнала сына), и конный городовой ударил ее по лицу нагайкой. Вот когда я поняла, что политика – это не только очереди за мясом, Митин волчий билет, Протопопов, а что-то гораздо более серьезное, что-то ссорившее и разъединявшее людей и в то же время объединявшее их, связывая между собой необыкновенно далекие события и предметы.

ПИСЬМО. МАМИНО ДЕТСТВО. СНОВА У ЛЬВОВЫХ

Мне больше не нужно было ходить в трактир, потому что, пока я болела, Алмазов нанял другую судомойку. Мама дала мне работу – переписать «Новый полный чародей-оракул». Это была редкая книга, которую она брала у одного букиниста и только за чтение платила двугривенный в день. Я принялась, и так усердно, что мама даже забеспокоилась – она считала, что от чтения и писания «надрывается грудь».

Жандарм, которого я однажды видела у Агаши, в этот вечер явился к нам, хотя мама была с ним почти не знакома. Он пришел с женой – он повсюду ходил с женой – и сперва не заводил разговора насчет гаданья, а все рассказывал о том, что в полиции теперь стало почти невозможно служить. Настроение – как в пятом году, а содержание и обмундирование значительно хуже. Жена тоже сказала, что хуже и что у Николая Николаевича – так звали жандарма – миокардит. Я запомнила эту болезнь, потому что у Агнии Петровны тоже был миокардит и она часто о нем говорила.

Мама поддакивала, хотя ей было неприятно, что они так долго тянут: я видела, как несколько раз она сердито поджимала губы. Но жандарм вдруг вытащил из кармана шинели бутылку вина, и мама оживилась.

Не буду рассказывать о том, как они пили, – это неинтересно. Жандарм все хотел рассказать о своем начальстве.

– Наш полковник – интересная личность, – начинал он, но жена перебивала его, и он умолкал. Он был грубый, но робкий и, как видно, очень боялся жены. Потом мама принялась за гаданье, и вот тут стало ясно, зачем они пришли. Начальство предложило жандарму идти в шпики: перевестись в армию и там подслушивать разговоры, а потом доносить, кто и при каких обстоятельствах высказывался за революцию и, следовательно, против царя.

– Слушать и брать на карандаш, – объяснил жандарм. – Вот тебе и нечаянной радости царица небесная!

Он сомневался, стоит ли идти в шпики, тем более что в армии настроение не лучше, чем дома. Один знакомый жандарм пошел и «хватил шилом патоки». Короче говоря, он решил погадать и теперь надеялся лишь на то, что Наталья Тихоновна поможет выйти из этого затруднительного положения.

Я сидела за столиком и переписывала, но одним ухом прислушивалась к гаданью: что мама скажет жандарму? Конечно, ничего хорошего. Она жандармов ненавидела и называла их «охломоны». Сквозь прореху в тряпичном ковре, которым была разделена комната, мне было видно ее худое доброе лицо со впалыми щеками, седеющие рыжеватые волосы, цыганские серьги-кольца. Она подделывалась под цыганку и время от времени говорила: «ча одарик, ча север» – «иди сюда, иди скорей» или «хохавеса» – «обманываешь». Это было все, что мама знала по-цыгански.

Жандарма я не видела, только нос и усы, но и по этим толстым стоячим усам легко было представить себе тупое внимание, с которым он слушал маму. Жена подлезала под эти усы и верещала так, что маме приходилось время от времени сурово взглядывать на нее, ожидая, когда она кончит.

Несколько раз я засыпала над «Чародеем-оракулом» и просыпалась, а жандарм все не мог решить, идти ему в шпики или нет. Самые простые выражения, вроде «казенный дом», «пиковый интерес» или «пустая мечта», пугали его. Он спрашивал:

– Что значит?

И мама наконец сердито сказала ему:

– Жандарм ты – так и оставайся жандармом! По крайней мере шпоры хлопают, люди слышат…

Мне почудилось, что где-то плачет мама, и так вдруг не захотелось переходить от чего-то хорошего, что я видела во сне, к этим слезам и непонятным мученьям! Я выглянула из-под коврика – да, мама! Жандарма уже не было, на его месте сидела с папиросой в зубах наша соседка Пелагея Васильевна, а мама расхаживала, держа в руке какую-то бумагу, и читала.

– «У нас забрали в армию двух артельщиков, – прочитала она, – из коих один подал жалобу на решение воинского присутствия, но оставлена без последствий. Так что в лавке я теперь один и дела идут отлично. У нас теперь два кинематографа. Черная мука – две копейки фунт».

Я сидела, обхватив руками колени, и мне хотелось, чтобы она скорее прочитала то самое страшное, из-за чего она время от времени останавливалась и, стиснув зубы, смотрела на Пелагею Васильевну.

– &quot;Ты меня зовешь домой, – продолжала она, – но я знаю эту проклятую жизнь, и лучше мне пойти на поле брани, чем жить, как у Пушкина: «… старик со своей старухой тридцать лет и три года». Старуха я для него! – незнакомым, грубым голосом крикнула мама.

Пелагея Васильевна слушала, покашливая. У нее была чахотка, и в доме все говорили, что весной она непременно умрет. Потухшая папироса торчала у нее в зубах, и она перекатывала ее из одного угла рта в другой с задумчивым, озлобленным выражением.

– «Тридцать лет и три года»! – злобно повторила мама. – &quot;Вот почему я решил остаться здесь навсегда. Суди меня, мне нет возврата, судьба решается моя, и если ждет меня расплата, пускай за все отвечу я. Или по крайней мере до 1921 года, когда кончится новый договор – пять лет без вычета процентов натурой… &quot; Хорош? А я тут живи – подыхай!

Больше я не слушала ее. Неужели отец не вернется к нам никогда? Вот отчего мама не спит по ночам. Она не говорила со мной об этом письме, потому что стеснялась, что отец отказался от нее. Он бросил нас оттого, что с нами ему тяжело, а на Камчатке ему будут платить жалованье без вычета каких-то процентов натурой.

Я не плакала. Но если бы в эту минуту он явился ко мне в том прекрасном наряде, который я придумала для него и который он, наверно, никогда не носил, я бы сделала вид, что даже не знаю его. Я бы не сердилась, как мама. Я бы равнодушно спросила: «Кто вы такой?» И если бы он бросился передо мной на колени, я бы скорее умерла, чем простила его.

Прежде я не очень-то прислушивалась к маминым рассказам – все казалось, что мама говорит не о себе, а о ком-то другом. А теперь каждый вечер я просила ее рассказывать и слушала, слушала без конца.

– Отец решил отдать меня в город к портнихе учиться. И что же я увидела в этом ученье? Мы были две девочки, и хозяйка нас клала в прихожей вместе с собакой. Мы радовались этой собаке – она была мохнатая, теплая, а из-под двери ужасно, Танечка, дуло… Но пришел отец и взял меня от этой портнихи. У нас была семья шесть человек, и он получал в день семьдесят пять копеек, как рабочий, но он был гордый человек и сказал, что не потерпит, чтобы его дочь спала рядом с собакой. В это время приезжает к матери двоюродный брат портной и помогает устроить меня в придворную мастерскую.

Много раз я слышала историю о том, как мама работала на Малой Конюшенной, в придворной мастерской, но никогда прежде мне не приходило в голову поставить себя на место маленькой девочки, двенадцати лет, которая каждое утро выходила из каких-то загадочных Нарвских ворот и два с половиной часа шла на работу. Два с половиной часа! За это время наш Лопахин можно было обойти по меньшей мере три раза.

– Почему я не ездила? Потому, что конка – это был расход: шесть копеек внизу, четыре наверху, а мой отец оставался на Путиловском молотобойцем и все время стоял на семидесяти пяти копейках. Вот я и шла с Чугунного к Нарвской заставе, потом по Старо-Петергофскому, Екатерингофскому, мимо Мариинского театра, а там уж было недалеко совсем – по Казанской. Зато ночью, когда возвращалась домой, это было, Танечка, жутко! Подходишь к Нарвским – кабак, потом мостик, река Таракановка. Потом поле, развалины и снова кабак – положительно на каждом шагу. Я по тротуару не шла – он был гнилой, дощатый, – а по мостовой, и то приходилось все время перебегать с одной стороны на другую. Пьяные, страшно, темно, того и гляди отволтузят… И вот работаю я года три, научилась не хуже других, сижу на сарафанах – это была такая парадная форма, из бархата лилового, голубого и желтого цвета. Сижу я на сарафанах, а нужно так шить, чтобы примерка была без булавок – как надела платье, так и сняла. А жалованья мне платят восемь с полтиной. Я прошу: «Мадам Бризак, – наша начальница была мадам Бризак, – я работаю третий год и на княгиню Юсупову шью полгода». А она мне говорит: «Девочка, ты прибавки от меня не дождешься. Не годится быть такой гордой, ты очень бедная и очень серая». Я прихожу к мастерицам, а они спрашивают: «Ты ей руку поцеловала?» – «За что? За мою работу?» А старшая услышала и говорит: «Ты молоденькая, живешь на заводе, у вас волнения, и я тебе советую держать язык за зубами».

До сих пор мама рассказывала громким голосом, очевидно с целью показать всему дому, что она не такой человек, чтобы целовать у какой-то мадам Бризак руку. Но после слова «волнения» она начинала говорить шепотом, и я догадывалась, что сейчас речь пойдет о Василии Алексеевиче Быстрове. Василий Алексеевич был тоже рабочий, как мамин отец, но его часто сажали в тюрьму, так что в конце концов он стал «нелегальный». Однако в тюрьме он нисколько не исправился и, едва его выпускали, опять начинал работать в какой-то «организации» – это слово мама произносила так тихо, что его можно было угадать только по движению губ. Он был «большевиком», как старший Рубин.

Почему у мамы становилось нежное лицо, когда она рассказывала об этом человеке? Почему она задумывалась и вдруг со смехом вспоминала, как Василий Алексеевич однажды пригласил ее в Екатерингоф на гулянье и вздумал пройти по вертящемуся столбу и свалился? Почему от Василия Алексеевича она неизменно переходила к истории о том, как однажды она ехала на конке и какой-то приличный господин с пушистыми усами подсел к ней и спросил, что она читает.

– А я читала «Воскресение» Толстого и только поняла, что ради Катюши Масловой Нехлюдов бросил свое богатство. Господин говорит: «Вы правы. Позвольте вас проводить». А я отвечаю: «Нет. Я из рабочей семьи и вам не пара».

Этот господин с усами был мой отец – и тут кончался мамин рассказ, начинались слезы…

Должно быть, письмо отца и то, что он отказался от нас, заставило меня надолго забыть о Львовых. Шесть недель, проведенных мною в «депо», теперь стали казаться мне каким-то мгновением, подобным тому мгновению, когда падает звезда и нужно успеть пожелать самое заветное до того, как она упадет. Она сверкнула и исчезла, а я не успела ничего пожелать – вот чувство, с которым я вспоминала о Львовых.

Несколько раз я проходила мимо «депо» – толстая крыша из снега висела над вывеской, все так же весело задирали вверх свои хвостики большие белые буквы. Что случилось в этом доме после того, как я ушла из него? Вернулась ли Агния Петровна? Женился ли Митя на Глашеньке? Едва ли, потому что весть о подобном событии донеслась бы и до посада. Вывел ли Андрей заключение из своей «таблицы вранья»? Разумеется, я могла просто зайти к нему – ведь теперь мы были прекрасно знакомы. Но это было нелегко – зайти, когда тебя никто не зовет. Кроме того, Львовы могли подумать, что я пришла, чтобы напомнить Агнии Петровне ее обещание отдать меня в прогимназию Кржевской.

Но вот наступил день, когда я пришла в этот дом и подняла в нем целую бурю.

День этот начался прекрасно. С утра запел кенар – это было, оказывается, хорошим предзнаменованием. Ситный теперь редко удавалось достать, а я достала свежий, да еще с изюмом. Веселые, мы сели завтракать, и мама, как всегда, когда у нее становилось легче на душе, рассказала о екатерингофском гулянье и об особой «копорской дорожке», по которой всегда гуляли девушки из Старорусского уезда, приезжавшие к лету на огороды. Эта дорожка виднелась издалека, потому что девушки были в розовых, желтых, зеленых платьях, юбки до земли, с воланами… И мама принялась подробно описывать «копорские» платья..

На зимнее пальто (для меня) и ботинки (для мамы) давно были отложены пятнадцать рублей, и после завтрака мы пошли на базар. Правда, все время получалось, что если купить пальто получше – не останется на ботинки, а если ботинки получше – не останется на пальто, так что мы бродили целый день и до того измучились, что пришлось посидеть у менялы и съесть расстегай с луком. Но в конце концов мы все-таки купили отличное пальто с бобриковым воротником и ботинки на шнурках, совершенно целые и почти до колена.

Было уже темно, когда мы вернулись домой. Мама стала разогревать обед, а я забралась на постель с ногами – замерзла. И вдруг я услышала, что мама свистит. Она чудно умела свистеть и, когда я была еще совсем маленькая, всегда не пела, а насвистывала мне колыбельные песни. Но это было давно, а за последние годы я и думать забыла, что мама умеет свистеть. Должно быть, старое и очень хорошее вспомнилось ей. Я вскочила и крепко поцеловала ее.

Потом мы пообедали, и я уселась за «Новый полный чародей-оракул».

Глаза слипались после утомительного морозного дня на базаре, но я время от времени крепко зажмуривала их, чтобы прогнать сон, и продолжала писать. В нашем доме редко случалась тишина, а тут вдруг настала, только из «Чайной лавки» доносился как бы сдержанный гул голосов да где-то далеко позвякивала упряжь, скрипели полозья, ямщик окликал лошадей…

Далеко, далеко! А вот и поближе. Еще поближе. Еще – и все оборвалось, но не у «Чайной лавки», где обычно останавливались тройки, а подле нашего крыльца. Что за чудо?

Кто-то быстро взбежал по лестнице и распахнул дверь не стучась. Это был Синица.

– Наталья Тихоновна, дома ты? – спросил он нетерпеливо. – Звездочета нет, а я баришню привез, гадать хочет. В Петров едем… Ну? Быстро надо.

Он говорил, как цыган, – «баришня».

Почему я подумала в эту минуту, что Синица привез Глашеньку и что они с Митей едут в Петров венчаться, – не знаю! Это мелькнуло мгновенно и даже как будто еще прежде, чем тройка остановилась у нашего дома. Еще прежде, чем Синица сбежал вниз и другие, легкие шаги послышались на лестнице, я знала, я была твердо убеждена, что это Глашенька. И не ошиблась.

Она была в том же беленьком полушубке, в котором я впервые увидела ее у Львовых, но шапочку держала в руке, и волосы, небрежно заколотые, вот-вот готовы были рассыпаться по плечам. Она была совсем другая, чем тогда, хотя такая же хрупкая и с таким же нежным румянцем на тонком лице. Но в этой хрупкости теперь было что-то отчаянное, как будто она решилась или была готова решиться на опасный, рискованный шаг.

Мама сделала движение, чтобы встретить ее, и Глашенька вдруг бросилась к ней. Это было так, как будто мама, которую она видела впервые в жизни, могла еще спасти ее – от кого?

– Что, барышня, милая, голубчик мой?

Глашенька так же порывисто отшатнулась.

Прошло немало времени, прежде чем сквозь туман детского обожания я разглядела Глашеньку Рыбакову. Но тогда… Кого не поразили бы эти глаза, полные мрачного света, как бы изнутри озарившего Глашенькино лицо, когда она склонилась над картами, которые неторопливо раскладывала мама?

Глашенька сидела, опершись локтями о стол, обхватив голову руками. Распустившиеся волосы упали на руки, но она не поправляла их. Мама переставила лампу со стола на комод, чтобы было просторней гадать, свет падал Глашеньке прямо в лицо, и она не отстранялась, не заслонялась, как будто нарочно для того, чтобы я запомнила ее навсегда.

– …И будут тебе от этого короля хлопоты, – медленно говорила мама. – И через хлопоты получишь богатство. А еще предстоит тебе дорога дальняя. Поздняя, – прибавила она, и хотя уже давно стемнело и было ясно, что Глашеньке предстоит поздняя дорога – как будто не эта, а другая, страшная дорога открылась в картах на гадальном столе. – Но этот король фальшивый, и ждет тебя с ним одна пустая мечта.

Тысячу раз я слышала, как гадает мама, и всегда так знаком звучали для меня эти привычные слова, которые она складывала то так, то эдак, стараясь угадать «судьбу». И еще привычнее было взволнованное выражение доверия, надежды, которые я видела на лицах приходивших к ней женщин, перед которыми она испытывала – так мне казалось – полусознательный стыд. Но в этот вечер я слушала ее, как будто она была какая-то чародейка, которая действительно знала то, что, кроме нее, не знал ни один человек на земле.

Червонная дама легла между семеркой и восьмеркой бубен – это означало измену; потом пошли пики и пики: восьмерка – слезы, десятка – разлука. И мама все назвала – и разлуку и слезы.

Понимала ли она то, чего не понимала я, сколько ни глядела на эти тонкие руки, сжимавшие голову, на волосы, рассыпавшиеся по рукам, на мрачное лицо с широко открытыми глазами? Разумеется, понимала. Недаром же, оторвавшись от карт, она вдруг грустно сказала не «гадальным», а своим обыкновенным голосом:

– Эх, барышня! Себя обманываешь, кого винить будешь?

И Глашенька вздрогнула и взглянула ей прямо в лицо.

Это была минута, когда я вдруг испугалась, что вовсе не с Митей едет Глашенька венчаться в Петров. Почему он остался внизу? Что он делает у крыльца, на морозе? Я слышала, как Синица что-то спросил у него – он не ответил.

Наконец, разговаривая, они стали подниматься по лестнице, и первым вошел и остановился у порога ямщик, а Митя остался в коридоре, точно скрывался от нас. Почему?

– Пора, баришня, пора, – сказал Синица.

От него пахло холодом, он похлопывал по валенкам кнутом, а за ним в глубине стоял и молчал Митя. Молчал и все не заходил. Почему?

Я тихонько вышла в коридор. Это был не Митя. Это был Раевский. Я сразу поняла, что это он, хотя он был в штатском, в огромной шубе с поднятым воротником и стоял в стороне, точно прячась. Под бобровой шапкой было видно его полное, взволнованное лицо. Я негромко ахнула и побежала назад.

Мне были известны такие истории. В кино «Модерн» я видела драму, в которой барышня была влюблена в своего жениха, а убежала с другим, но для этого у нее были серьезные причины! Ее жених был старик, и ему не нравилось, что она играет на сцене. Но тут было совсем другое. Как живая, стояла передо мной Глашенька – не эта, мрачная, с распущенными волосами, а веселая, обрадовавшаяся, когда Митя выбежал к ней из дому, застенчивая, когда он предложил ей руку, гордая, когда она приняла ее свободно, как королева. Она любила его! Почему же вдруг разлюбила? Как она могла променять Митю на этого полного, неприятного человека с короткими ногами, который, как медведь, ворочался в коридоре, а потом зашел и, не здороваясь, положил на стул кучу смятых трехрублевых бумажек?

Какое-то странное оцепенение нашло на меня. Кажется, я видела, а может быть, и нет, как мама, кончая гаданье, наудачу вытащила последнюю карту, и этой картой оказалась десятка пик – удар или больная постель, как Глашенька каким-то несмелым движением смахнула карты со стола, встала, качнулась и упала бы, если бы Синица не подхватил ее. Он понес ее по лестнице на руках, но чуть не выронил, и Глашенька спустилась сама. Я выбежала вслед за мамой.

…Путаясь в шубе, Раевский сел подле Глашеньки и стал застегивать полсть. У него пальцы не слушались. Синица крикнул:

– Эй вы, распрекрасные, дети любимые!

И снова забренчала упряжь, заскрипели полозья – только что близко, а вот уже дальше и дальше. Мы вернулись домой, и все время, пока мама, вздыхая, жалела Глашеньку, ругала Раевского, мне казалось, что я слышу далекий скрип и бренчанье убегающей тройки. И потом, вернувшись к себе, я еще долго прислушивалась к этим звукам, точно было невозможно допустить, что Глашенька уехала, а мы ничего не сделали, чтобы помочь ей, остановить ее…

Ах, какое у нее было лицо, когда она встала и смахнула карты со стола! Мне было жаль ее. Но еще больше я жалела Митю. Быть может, я должна сразу же бежать к нему? И мне представилось, как я бегу по набережной, глухо, грустно звенят тополя, Ольгинский мост открывается под ясной луной. Вот и «депо», Митя не спит, а играет на скрипке. Запаянная трубка с ядом кураре лежит у него на столе. Дрожа, я говорю ему, что Глашенька убежала с Раевским. Он отвечает: «Я презираю ее».

И снова берется за скрипку, как будто ничего не случилось.

А может быть, действительно ничего не случилось? Может быть, он поссорился с Глашенькой? Может быть, у него уже прошла любовь? Ведь недаром же Андрей говорил, что «для людей типа Мити прошлое вообще не имеет значения». Может быть, компания в конце концов повлияла на него и он раздумал жениться?

Я все лежала, и думала, и прислушивалась – и все чудилось далеко-далеко позвякиванье упряжи, скрипенье полозьев, глухой стук копыт по наезженной, крепкой дороге.

Еще когда я уезжала от Львовых, Андрей дал мне книгу «Мысли мудрых людей», так что у меня был прекрасный повод, чтобы отправиться к нему и спросить, знает ли Митя, что Глашенька убежала с Раевским. Прежде мне казалось неудобным возвратить книгу, пока я ее не прочла. А теперь я решилась, тем более, что это была довольно скучная книга.

Оказалось, что это трудновато: подойти к «депо» и позвонить не с кухни, а в парадную дверь. Но я все-таки позвонила и, когда Агаша открыла, сказала ей вежливо:

– Доброе утро.

Она стала ахать, что у меня хорошенькое пальто и что я сама стала хорошенькая. Я поблагодарила:

– Спасибо. Андрюша дома?

В эту минуту он сам вылез из своей комнаты, какой-то бледный, с завязанным горлом, и сказал:

– Здравствуй. Ты молодец, что пришла. Иди-ка сюда, я тебе покажу одну штуку.

У него ничего не переменилось в комнате, только сильно пахло валерьяновыми каплями и на полу стояла большая стеклянная банка. Я сразу заметила, что в ней тараканы, но не обыкновенные, рыжие, а черные которых, говорят, нарочно разводят, чтобы они приносили счастье.

Андрей внимательно посмотрел на меня. Кажется, ему понравилось, что я не удивилась.

– Я их усыпляю, – сказал он. – Понимаешь? А потом буду вскрывать. Хочешь мне помочь? Нужно сесть на банку.

На банку, оказывается, нужно было сесть потому, что, если просто закрыть ее картонкой или фанерой, тараканы не уснут или уснут в ужасных мучениях. Когда я пришла, Андрей как раз ломал себе голову над этим вопросом. Он уже влил в банку эфирно-валерьяновых капель, и эфир испарится, если кто-нибудь не сядет на банку. Он бы сам сел, но ему нужно готовить какие-то препараты.

Я сказала:

– Ну, пожалуйста.

И хотела снять пальто. Но Андрей сказал, что так даже лучше. И вот в новом зимнем пальто я уселась на банку.

Это было довольно глупое положение, в котором я не могла, разумеется, завести разговор о Мите, раздумал ли он жениться на Глашеньке и знает ли, что она убежала. Я только спросила:

– А они будут долго?

– Что долго?

– Засыпать.

Андрей сказал, что черных тараканов ему не приходилось усыплять, но они похожи на жуков, а жуки от эфира в конце концов засыпают.

– Тебе неудобно сидеть? – заботливо спросил он. – Хочешь, я принесу тебе что-нибудь почитать?

Я поблагодарила и отказалась.

Интересно, что, сидя на этой банке, неудобно было разговаривать не только о Мите. Я спросила:

– Ну, что нового?

И даже этот вежливый, обыкновенный вопрос показался мне каким-то неловким. Но Андрей, кажется, не заметил, что я смущена. Озабоченный, он сидел на корточках и долго смотрел на тараканов. Потом вышел, вернулся с доской, на которой рубили мясо, и начал вкалывать в нее булавки. Я спросила беззаботно:

– А зачем тебе их вскрывать?

Он посмотрел на меня, не видя и думая о чем-то своем, – я знала это выражение с раздвинутыми от внимания бровями.

– Видишь ли, я хочу выяснить, есть ли у них сердце. Я мог бы просто спросить у дяди, он знает наверняка, потому что даже сказал, как называется черный таракан по-латыни. Но мне хочется самому. Я поспорил с Валькой, что есть, а он говорит, что поверит только в том случае, если увидит собственными глазами. Это его девиз: «Верю тому, что вижу». В бога он не верит тоже потому, что не видит.

Валька – это был Коржич. Значит, Андрей с ним помирился.

– Но это вообще интересно, верно?

Я согласилась, что интересно. Тараканы налезали друг на друга и издалека трогали стенки усами. Смотреть на них можно было только сбоку и то, если поднять пальто. По-моему они и не думали засыпать, хотя я сидела очень плотно и могла поручиться, что ни одна частица эфирно-валерьянового газа не пропала напрасно. Но Андрей сказал, что они засыпают.

– Это у них возбуждение, – объяснил он. – Кошки бесятся от валерьянки, а тараканы, вероятно, сперва возбуждаются, а потом засыпают.

Мы помолчали. Потом я спросила:

– Ну, как Агния Петровна? Вернулась из Петрограда?

– Вернулась.

– Отменили волчий билет?

– Отменили. Митя едет в Ивановск.

Я твердо решила спросить насчет Глашеньки, когда тараканы заснут. Но не выдержала.

– Что же он? Как видно, раздумал жениться?

– Нет, не раздумал.

Не раздумал! Я чуть не вскочила, во вовремя опомнилась и только немного повертелась на банке.

– Интересно. А помнишь, ты говорил, что они, возможно, убегут венчаться в Петров?

– Помню. И что же?

– Ничего.

Я помолчала. Тараканы все шевелили усами, и я опять не выдержала:

– А вот и не убегут.

Наверно, у меня в голосе было что-то трагическое, потому что Андрей бросил свою доску и с удивлением обернулся ко мне:

– Почему ты думаешь?

– Потому, что Глашенька уже убежала.

Прежде я не замечала, чтобы у него так быстро менялось выражение лица. Только что было видно, что он глубоко занят тараканами, как будто на лице было написано: «Тараканы». А теперь кто-то мгновенно написал: «Глашенька убежала».

– Этого не может быть, – медленно сказал он. – Как убежала?

– Вчера вечером она заезжала к маме погадать, и с ней был этот Раевский. Мама сказала, чтобы я не говорила, что они были, но раз Митя не знает, я считаю, что было бы подло скрывать.

Я подобрала пальто и посмотрела на тараканов с такой ненавистью, что если у них было сердце, как предполагал Андрей, оно бы сжалось от этого взгляда.

– Она не хотела.

– Кто?

– Глашенька. Не то что не хотела, а расстраивалась. Она была в отчаянии, – сказала я торжественно, – потому что любит Митю, а убежала с другим!

Тут надо было бы рассказать, как Глашенька, войдя, бросилась к маме, как, сжимая виски, смотрела на карты, точно ждала спасенья от этих растрепанных карт. Но, сидя на тараканах, я не могла рассказать об этом.

– Вот что, – сказал Андрей, – ты останься, а я сейчас же пойду.

– Куда?

– К нему.

Теперь у него стало решительное лицо. Он сжал губы и вышел.

Вероятно, это было подло с моей стороны, но, подождав немного, я осторожно встала и на цыпочках пошла за Андреем. Это было свыше моих сил – в такую минуту усыплять тараканов! Кроме того, я надеялась, что они прекрасно подохнут под доской, которую я положила на банку.

Митя был в столовой, зубрил, обложившись книгами, – наверно, твердо решил получить в Ивановске золотую медаль. Дверь в коридор была открыта. Когда я на цыпочках подошла к ней, Андрей стоял у буфета – очевидно, только что начал говорить, потому что я еще видела, как Митя поднял к нему недовольное лицо – сердился, что ему помешали.

У меня сильно билось сердце, и я была убеждена, что Андрей сейчас прямо скажет ему: «Убежала с Раевским», как он однажды прямо спросил у меня: «Тебе хочется знать, отчего у меня распух нос?»

Ничего подобного. Он мялся, и я видела, что ему очень трудно.

– Ты не беспокойся, – наконец мягко сказал он, – тем более что это может оказаться неправдой. Но, видишь ли, дело в том… ко мне пришла Таня, и она говорит, что вчера Глашенька гадала у Таниной мамы.

– Гадала?

– Да. И Таня говорит, что она была не одна. – Андрей говорил совершенно как взрослый. – Она была с Раевским.

Он замолчал. Он не смотрел на Митю.

– В общем, они уехали. Таня говорит, что в Петров.

Митя встал. Я никогда не думала, что можно так побледнеть. Он коротко крикнул – не знаю что, просто так – и взялся руками за стол. Мне показалось, что он взялся, чтобы не упасть, а он вдруг двинул стол и с грохотом повалил его, так что тетради и книги посыпались на пол и, между прочим, разбилась прекрасная белая лампа, которой Агния Петровна гордилась и говорила, что какой-то артист привез ей эту лампу из Вены.

Потом все произошло очень быстро. Митя выскочил в переднюю, сорвал с вешалки шинель. Стук палок раздался в коридоре – это старый доктор, услышав крик, вышел из своей комнаты и спросил тревожно:

– Что случилось?

Андрей сказал ему странным голосом:

– Дядя, идите сюда, скорее, скорее!

И я увидела, что Митя, полузакрыв глаза, стоит у стены и, шатаясь, трогает стену руками. Но вот он шагнул, распахнул двери, и, когда мы с Андреем выбежали за ним, только шинель, которую он перекинул через плечо, мелькнула в калитке.

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

С этого дня я стала снова бывать у Львовых – во-первых, потому, что понравилась старому доктору, а во-вторых, потому, что все-таки интересно было узнать, если ли у тараканов сердце.

Но сперва я расскажу о Мите.

Агнии Петровны не было дома, когда мы сказали ему, что Глашенька убежала с Раевским, и Андрей решил, что нужно «немедленно найти маму, потому что Митя может покончить с собой». Он привел меня в Митину комнату и взял со стола трубку с ядом кураре.

– Возможно, что это и не кураре, – сказал он. – Но на всякий случай нужно убрать его подальше. Дай-ка платок.

Он завернул трубку и сказал, чтобы я держала ее в левой руке.

– Ты можешь упасть, – объяснил он. – А падая, человек инстинктивно опирается на правую руку. А теперь отправляйся домой, а я пойду искать маму.

Это было глупо, что я согласилась: пока я дойду до дому и вернусь обратно, у Львовых могли произойти важные события. Я подумала об этом, но поздно – уже когда шла через Ольгинский мост. Теперь оставалось только снести яд и поскорее вернуться.

В кухне у Львовых – на этот раз я позвонила с кухни – было большое общество и сидели даже какие-то важные люди – например, горбатый чиновник, о котором гимназисты говорили, что он страшный силач. Агаша стояла у плиты и рассказывала о Мите. Оказывается, она служила у Львовых с 1904 года, и с Митей еще тогда было мученье: как увидит даже на той стороне улицы мальчика или девочку, сразу перебежит и побьет. Потом она рассказала, что Митю ищут по всему городу и нигде не могут найти, хотя прошло уже пять часов с тех пор, как он, выйдя от Рыбаковых, бросился вниз по Сергиевской, к Тесьме, – и пропал. В этом месте она собралась зареветь, но удержалась, потому что горбатый чиновник придвинулся к ней и спросил:

– А яд-то?

И Агаша ответила загадочно:

– Так и не можем найти.

Я еще слушала не понимая.

– Очевидно, отравился – и в прорубь, – заметил чиновник.

Агаша заревела. Все задумчиво смотрели на нее. Я – тоже. И вдруг я поняла: яд! Они думают, что Митя отравился ядом кураре! До сих пор я тихонько стояла в углу и даже немного боялась, как бы меня не прогнали, а теперь вышла и встала подле Агаши.

– Агашенька, Агния Петровна думает, что Митя отравился тем ядом, который лежал у него на столе?

Она сказала, что да и что Агния Петровна чуть не упала в обморок, а теперь ходит с жандармом и ищет Митин труп. И что Андрей тоже как ушел с утра, так и нету.

– Хорошо. Тогда я пойду к дяде, – сказала я твердо. – Мне нужно сказать ему несколько слов.

Без сомнения, старый доктор тоже беспокоился насчет Мити. Он привстал с кресла, как только я появилась в дверях, и спросил тревожно:

– Нашли?

Я сказала:

– Здравствуйте, дядя Павел. Как ваше здоровье? Дело в том, что Агния Петровна напрасно беспокоится: яд у меня. Это трубка с чем-то красным. Андрей дал ее мне. Она в комоде. Если хотите, я принесу.

Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся, хотя, кажется, я не сказала ничего смешного.

– Да, да, – сказал он. – Мы взволновались, хотя я говорил Ане (так он называл Агнию Петровну), что это не может быть кураре и вообще, вероятно, не яд. Но все-таки где же Митя?

– Видите ли, дядя Павел, – сказала я оживленно, – интересно еще, где Андрей. Понимаете, Андрей ведь тоже пропал. Это меня утешает.

Доктор был без очков, когда я пришла, а теперь надел и снова посмотрел на меня, как будто увидел впервые.

– Так, так, – серьезно сказал он. – Почему же это тебя утешает?

– Потому, что он тоже беспокоится и пришел бы домой. А он не пришел. Значит, у него есть причина.

– Почему ты думаешь?

Я сказала, как Андрей:

– Потому, что сделала заключение. В самом деле, дядя Павел. Куда Андрей мог пропасть на весь день? Он не вернулся домой из-за Мити. Вы читали «Злой рок шахт Виктория»? Он следит за Митей, как Нат Пинкертон. Следовательно, они придут оба в одно время, один за другим.

Я была в таком вдохновении, что прослушала звонок и в первую минуту не поняла, почему Агаша сказала: «Ай, батюшки!» Она выбежала в коридор, я за ней, но сразу вернулась, потому что старый доктор потянулся к палке, лежавшей на полу, и чуть не упал. Я подала ему палку.

Агашины гости высунулись из кухни, чтобы посмотреть, кто пришел. Это был Митя. Он снял шинель в передней. Проходя мимо Агашиных гостей, он двинулся на них и сказал грозно, совершенно как Агния Петровна:

– Это еще что такое?

Потом прошел к себе и закрыл дверь на ключ.

А через несколько минут снова раздался звонок, и пришел Андрей. Он пришел страшно замерзший и долго отмалчивался, шмыгая носом и мрачно глядя на свои посиневшие пальцы. Я сказала, чтобы он приложил их к животу – верное средство. Он приложил.

Оказалось, что он все время сидел во дворе у Рубиных и ждал Митю. Он не хотел показываться, чтобы Митя его не прогнал. Но в общем, сказал он, это была ерунда, потому что он играл с ребятами в снежки и стал замерзать, только когда этих ребят позвали обедать.

Агния Петровна тоже пришла – откуда-то она уже знала, что Митя нашелся. Она сняла пальто и, сердито протирая запотевшее пенсне, долго стояла в передней. Все от нее удрали. Она постучалась к Мите, и я слышала, как он сказал:

– Мамочка, если можно, потом.

Я ушла. Старый доктор почему-то поцеловал меня, когда я заглянула к нему, чтобы проститься.

Павел Петрович предложил заниматься со мной по всем предметам прогимназии Кржевской, и я стала ходить в «депо», как в прогимназию, с тетрадками и книжками, которые дал мне Андрей. Это были книжки по арифметике и географии, а по природоведению и по русскому доктор сказал, что не нужно, потому что он и без книг знает эти предметы. Я приходила и садилась у его ног на скамеечке. Он спрашивал – между прочим, строго, а я отвечала. Теперь я нисколько не боялась, а, напротив, привыкла к старому доктору и полюбила его. Входя к нему, я всегда чувствовала, что для того, чтобы заговорить со мной, ему нужно вернуться откуда-то издалека. Я чувствовала, что он одинок. Например, он любил прочитать газету и поговорить о политике, а кроме меня, никто не хотел его слушать. Я расстраивалась, когда его обижали. Он очень обрадовался, когда Митя решил пойти на медицинский факультет, и хотел по этому поводу прочитать ему свою статью, которая называлась «Защитные силы», но Митя сказал: «Ох, дядюшка, ради бога!» – и это было так грубо, что Агния Петровна сделала ему замечание.

Старому доктору было скучно постоянно находиться в своей комнате, иногда он выходил посидеть на крыльце, и Агния Петровна сразу же начинала ворчать, как будто это было трудно – подать ему шубу и шапку и немного поддержать под локоть в дверях.

Словом, непонятно почему, но в «депо» были как бы две партии: одну составляли Агния Петровна и Митя, а другую – этот старый человек, очень вежливый, который ничего не требовал, ни на что не жаловался и только сидел в своей комнате и писал. Мне казалось, что очень трудно быть вежливым, когда приходится ходить, опираясь на палку и тряся головой, висящей как-то отдельно от тела.

Я давно хотела поговорить с Андреем об этих странных отношениях, тем более что он жалел Павла Петровича и часто заходил к нему. Наконец решилась, и Андрей ответил, что мог бы объяснить, но не стоит, потому что я все равно ничего не пойму.

– Ты знаешь, что такое принцип? – спросил он.

– Нет.

– А что такое микроб?

– Тоже.

– Вот видишь.

Но я стала приставать, и тогда он сказал, что Агния Петровна рассердилась на доктора за то, что он из принципа отказался лечить за деньги. К другим врачам бедняки не ходят, а к нему ходят, потому что он с них ничего не берет или самое большее двадцать копеек. Между тем он мог бы зарабатывать десять рублей в день. – Андрей сам слышал, как Агния Петровна сказала об этом Агаше.

Но немного он все-таки зарабатывает, главным образом на медицинские журналы, которые ежегодно выписывает из Петрограда и Москвы. Он интересуется микробами, но из этого тоже ничего не выходит, потому что тут главное – опыты, а для опытов нужны аппараты. Впрочем, может быть, старому доктору они не очень и нужны, потому что он занимается плесенью. Как это ни странно, он считает, что плесень не только совершенно безвредна, но действует лучше многих лекарств.

Когда-то он жил в Петербурге, но потом его выслали, потому что он выступил против царя на каком-то съезде. В Лопахин он попал не сразу, а сперва три года провел где-то в Сибири.

– Между прочим, ко времени моего рождения он уже ходил с палкой, – добавил Андрей. – А потом, когда мне стало года четыре, – с двумя.

Я спросила, чем болен Павел Петрович, и Андрей объяснил, что это тяжелый ревматизм, которым он заболел, когда его отправляли в Сибирь по этапу. Но он не лечился, потому что большинство лекарств, по его мнению, – сплошное жульничество, за исключением двух-трех, которые были известны еще Гиппократу.

– Знаешь, кто такой Гиппократ?

Мне хотелось учтиво промолчать, чтобы вышло, как будто я знаю, но Андрей понял и сказал:

– Эх ты, Гиппократа не знаешь!

И он объяснил, что в древности был такой врач, который мог даже не осматривать больного, а только посмотрит ему в глаза – и готово! Уже известно, выздоровеет больной или нет.

Стало быть, Агния Петровна сердилась на брата из-за какого-то принципа? Или из-за Гиппократа?

Я долго думала над этим вопросом и решила, что Андрей ошибается. Просто доктор был стар и болен, а на старых и больных всегда сердятся. Это я заметила еще, когда у меня была бабушка, которая умерла в 1913 году. Особенно если нечего надеяться, что они когда-нибудь смогут заплатить за еду и квартиру.

На другой день после истории с Митей я принесла в «депо» трубку с ядом кураре, и старый доктор приветливо закивал, увидев меня:

– А, злой рок шахт Виктория!

Это было у крыльца, он сидел закутанный, только длинные брови торчали из-под нахлобученной шапки.

– Ну как, сделала заключение?

Я сказала:

– Здравствуйте, дядя Павел. Как ваше здоровье? Насчет чего заключение?

– Насчет яда кураре, – сказал доктор и засмеялся.

Разумеется, он шутил, я и не собиралась делать заключение насчет яда кураре.

Я сказала:

– Между прочим, Андрей думает, что это не яд. Вот посмотрите, дядя Павел. Хотя он красный, но прозрачный. А яд – например, жидкость для клопов – он мутный.

Доктор взял у меня трубку и положил ее на перила. Потом расстегнул шубу и достал из кармана перочинный нож. Он вывернул карман и вытряхнул из него комочки ваты и крошки. Он нисколько не торопился, так что мне и в голову не могло прийти, что он собирается делать. Я только ахнула, когда он взял в правую руку нож и сильно ударил им по стеклянной трубке.

– Дядя Павел!

Кончик отлетел, и доктор налил немного яду кураре на ладонь и понюхал его, потом тронул языком и энергично сплюнул.

Я заорала:

– А-а-а!

Он сказал сердито:

– Молчи, болван!

Потом засмеялся, бросил трубку в снег и сказал, что это вода, подкрашенная кармином.

Андрей потом говорил, что здесь сыграла роль быстрота плевания и что он берется таким образом попробовать даже какую-то царскую водку. Но водка, даже и царская, было одно, а яд – совершенно другое. Кто еще в Лопахине решился бы попробовать яд?

Митя уехал в конце января, и в «депо» стало пусто без него – так много говорили о нем и столько он всем доставлял беспокойства. Перед отъездом он зашел к Глашенькиным родителям и просидел у них страшно долго; Андрей потом рассказывал, что Агния Петровна уже принялась было искать в его комнате записку: «Прошу в моей смерти никого не винить». Когда он надолго пропадал, она прежде всего искала эту записку.

Я спросила у Андрея, как он думает, почему все-таки Глашенька любила Митю, а убежала с Раевским, и Андрей объяснил, что это сложный вопрос, в котором может разобраться только наука. Но в литературе ему известны подобные факты. Например, в пьесе Островского «Бесприданница» одна девушка чуть не убежала с богатым купцом, и когда жених стал упрекать ее, она отвечала: «Поздно! Теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты». Возможно, что то же самое произошло и с Глашенькой, тем более что отец Раевского – директор банка и в Лопахинском уезде ему принадлежит большое имение «Павы». Но они убежали не в имение, а в Петроград, потому что Раевский все равно собирался перевестись в Петроград. Он хочет кончить Училище правоведения и стать дипломатом.

Мне запомнился вечер, когда уехал Митя. Компания устроила ему проводы, и Агния Петровна стояла у ворот и смотрела, нет ли поблизости городовых, потому что гимназисты пели запрещенные песни.

Мы с Андреем вышли во двор, и она нас тоже заставила сторожить, хотя пение едва доносилось из-за двойных рам, был десятый час и городовые спали. Потом извозчики подали к крыльцу и оказалось, что товарищи едут провожать Митю за пятнадцать верст на вокзал, хотя и непонятно было, как они поместятся в двух маленьких санках. Они вышли, обнявшись, в расстегнутых шинелях, с фуражками на затылках, и Агния Петровна снова стала бояться – уже не полиции, а гимназического начальства. Наконец все расселись, уехали, и наступила та пустота, о которой я уже рассказала.

Теперь я бывала в «депо» почти каждый день и оставалась, даже когда Андрея не было дома. Случалось, что Агаша просила меня помочь: я убирала комнаты или топила печи. Но чаще я сидела у старого доктора и читала что-нибудь или смотрела, как он пишет. Мы подружились. Я рассказала ему, как мы с мамой живем в посаде и как коврики и половики совсем перестали брать, а гадать ходят теперь к звездочету, хотя он только обманывает публику своими фокусами да звездами на заборе. Доктор попросил меня объяснить значение карт, и я объяснила, что бывают разные способы гаданья – цыганский и французский «Ленорман-Етейла». Самый трудный – французский, а самый верный – цыганский, потому что только одни цыгане еще верят в судьбу. Но это было уже из «Оракула», которого, кстати, пришлось вернуть, потому что букинист набавил за день четыре копейки. Потом доктор наудачу вытащил семерку, десятку, короля и валета бубен и спросил:

– Ну-ка, что это значит?

И я, не задумываясь, ответила:

– Это значит, что после прогулки вы свидитесь дома с вашим предметом и вступите в брак, к досаде и огорчению старого родственника.

Доктор слушал с интересом.

– Значит, «Ленорман-Етейла», – сказал он задумчиво. – Так… А сколько семью девять, ты знаешь? Я сказала, что знаю только до «шестью шесть», и он задал мне до «семью девять».

В другой раз я рассказала ему, как к маме приходил жандарм с женой, и Павел Петрович сказал загадочно:

– Крысы бегут с тонущего корабля.

Я видела, что ему хочется поговорить о политике, и нарочно спросила:

– Дядя Павел, а при чем же здесь крысы?

И он объяснил, что в данном случае монархия, то есть самодержавие, – это корабль, а крысы – это те, кто догадывается, что он непременно потонет. Но догадываются далеко не все, тем более что самодержавие устраивает заговор, чтобы победить народ, который стремится к свободе.

– Дядя Павел, а вы стремитесь к свободе?

Он засмеялся и сказал:

– О да!

В свою очередь, помещики и буржуазия тоже устраивают заговор, чтобы устранить царя, потому что они боятся, что у царя не хватит сил справиться с народом. Но из всех этих заговоров все равно ничего не выйдет, потому что народ просыпается или уже проснулся, и низвержение самодержавия, безусловно, произойдет – возможно даже, что через три или четыре года. Это было очень трудно выговорить – «низвержение самодержавия». Но потом получилось, и заодно я рассказала Павлу Петровичу все, что знала о политике, то есть что есть разные партии и что Синица, по-моему, «правый», потому что хочет отправить всех студентов на фронт.

Доктор выслушал и, к моему изумлению, сказал, что все эти партии почти ничем не отличаются друг от друга.

– Два мира борются между собой, – сказал он, – мир богачей и мир тружеников, которые всю жизнь работают на этих богачей и тем не менее остаются бедняками.

Мне захотелось спросить, кто же я – богатая или бедная, тем более что в посаде мы с мамой считались не особенно бедными. Но он задумался, уставившись в одну точку, широко открыв свои грустные потускневшие глаза. И я не спросила.

В другой раз он заговорил о болезнях. Он думал, оказывается, что мы заболеваем не потому, что у нас что нибудь болит, а потому, что нас точат микробы.

Я не поняла, но кивнула. И вдруг старый доктор рассказал мне сказку о ночном стороже, который любил смотреть через увеличительные стекла. Это было давно, лет двести тому назад, и не у нас в России. Сторож был чудак, и ему было интересно, что, например, делается в голове у мухи или как устроен глаз у быка. Увеличительные стекла, которые мальчишки покупали, чтобы выжигать разные слова на заборах, он делал сам, причем такие сильные, что обыкновенные волосы выглядели под этими стеклами как толстые, мохнатые бревна.

И вот однажды он набрал в стеклянную трубочку немного воды и посмотрел на нее через стекла, хотя всем было ясно, что как бы воду ни увеличивать, она все равно остается водой. Но оказалось, что в воде плавают какие-то маленькие животные – такие маленькие, что он просто не поверил глазам, причем это были не рыбы.

Я сказала:

– Дядя Павел, ну какие маленькие? Как соринка?

– Меньше.

– Как пылинка?

– Еще меньше.

Меньше пылинки был, по-моему, только глаз у какой-нибудь букашки вроде комара. Но мне показалось неудобным сравнивать маленьких животных, о которых так серьезно рассказывал старый доктор, с глазами каких-то букашек.

И вот ночной сторож стал повсюду искать маленьких животных – он почему-то решил, что они должны водиться не только в воде. И действительно, оказалось, что их сколько угодно, например, в перце, если сто размочить. Сторож стал даже разводить их – кажется, в соусе или в компоте.

По вечерам он зажигал фонари, по ночам ходил с ружьем и кричал: «Спите спокойно!» А днем сидел над своими маленькими животными и рассматривал их через увеличительные стекла.

В общем, это была довольно интересная история, хотя я так и не поняла, каким образом нас точат микробы.

Мне понравилось, что сторож ходил по улицам и кричал: «Спите спокойно!» Вот если бы у нас был такой ночной сторож в посаде! Насчет маленьких животных я хотела сказать, что зачем же их разводить, если от них нет ни малейшей пользы? Но у доктора было такое печальное, доброе лицо, когда он рассказывал всю эту историю, что я только подумала – и не сказала.

Зимним вечером снег падает на затерянный в глуши городок, толстая белая крыша над вывеской «депо» становится все толще и, наконец, обрушивается с бесшумным вздохом. Время идет – минута за минутой. Необыкновенные события происходят в мире, и так как они действительно необыкновенны, другие, еще более необыкновенные, вообразить невозможно. Люди верят, надеются, ждут…

Все медленнее летят тяжелые, крупные хлопья – воздух полон ими от земли до небес. Они сходятся и расходятся, точно пляшут какой-то неторопливый старомодный танец. Поднимается ветер – и они поднимаются вверх. Ветер падает – и они покорно ложатся на землю.

Держа на коленях раскрытую книгу, девочка сидит у ног старого человека. Снизу она видит его бороду и очки, которые едва держатся на кончике толстого носа. Она читает, он слушает. Иногда он строго поправляет ее.

Такими ушли от меня детские годы.